

Лев Исидорович Дугин

Северная столица



А.С.Пушкин

Лев Дугин

Северная столица

1983

Дугин Л. И.

Северная столица / Л. И. Дугин — 1983 — (А.С.Пушкин)

В 1977 году вышел в свет роман Льва Дугина «Лицей», в котором писатель воссоздал образ А. С. Пушкина в последний год его лицейской жизни. Роман «Северная столица» служит непосредственным продолжением «Лицея». Действие новой книги происходит в 1817 – 1820 годах, вплоть до южной ссылки поэта. Пушкин предстает перед нами в окружении многочисленных друзей, в круговороте общественной жизни России начала 20-х годов XIX века, в преддверии движения декабристов.

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	6
III	14
IV	20
V	24
VI	29
VII	30
VIII	34
IX	37
X	39
XI	41
XII	42
XIII	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Лев Исидорович Дугин

Северная столица

Часть первая

I

Утро казалось пасмурным даже для Петербурга. Небо нависло низко, моросил дождь, и воздух насыщен был водяной пылью...

На плацу казармы – одной из многочисленных в Петербурге – шли занятия. Солдаты, в перекрещенных ремнях и с тяжелыми ранцами за спиной, отбивали, поднимая брызги, шаг и выполняли приемы, согласно артикулу...

Уставшие офицеры отогревались чаем с ромом. Кто-то рассказал театральный анекдот, кто-то *aventure galante*¹. А кто-то достал листок со стихами.

Стихи были политическими и отличались смелостью и остротой. Тут же сели переписывать.

Стихи в офицерском обществе считались самым лучшим и верным выразителем их мыслей, чувств и намерений...

В Петербурге все шире делалось известным новое имя – Пушкин.

¹ Любовные приключения (франц.)

II

Владыки! вам венец и трон
Дает Закон – а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.
И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!

«Вольность»

Он лежал в постели, согнув под одеялом ноги, и писал в альбоме с плотными листами синеватой бумаги.

Сквозь прямоугольник окна в комнату лился неяркий свет осеннего утра. В стекло стучали капли дождя.

Со двора донеслись ржание лошадей и окрики кучера, – значит, отец, неутомимый *homme du monde*², вернулся с утренних визитов. Который час? В комнате сестры, за стеной, слышались шаги и звук передвигаемого стула.

Открылась дверь, и вошел дядька Никита.

– Вставать пора-с... К завтраку-с... – Голос у Никиты был негромкий, глухой.

Пушкин повернул к нему голову...

И вновь перо заскрипело по бумаге и так стремительно закончило строку, что разбрызгало чернила. Наконец он отодвинул альбом – и как будто избавился от забот; живыми глазами смотрел Пушкин на слугу – в рубахе, шароварах и сапогах.

– Ты все почистил?

– Все готово-с...

– Ни пятнышка не заметно?

– Ни боже мой...

– А туфли?

– Что ж туфли... – Никита вздохнул. – Были хорошие, да по будням заношены...

И молодой барин заметно взволновался. Он даже подскочил на постели.

– Но как же с туфлями, а, Никита?.. Как в таких туфлях...

² Светский человек (франц.)



Тридцатилетний приземистый дворовый неопределенно пожал плечами.

– Вам к завтраку непременно выдти надоть... Сами знаете – маменька недовольны-с... Вместе с платьем он принес записку.

– От кого?

Записка была от сестры: она хотела видеть его...

Когда она вошла, он уже сидел перед зеркалом за туалетным столиком, завернувшись в пестрый халат. Он даже вскрикнул от восхищения и протянул к ней руки жестом радостного приветствия. Они еще не привыкли к тому, что живут вместе, а разлучены были – шесть лет! В домашнем платье, она была тоненькая, изящная даже без корсета, а черные локоны, спускаясь вдоль щек, оттеняли матовую бледность удлиненного, миловидного лица. В руках ее свернулась крошечная моська...

– Ты все спишь, – сказала она. – Я помню, в Лицее ты поднимался в шесть...

– А теперь я ложусь в шесть! – жизнерадостно воскликнул он.

Ольга села в неглубокое кресло с закругленными подлокотниками.

– У меня спокойная совесть – я спокойно сплю. – Ему хотелось рассмешить ее.

– Что же, по-твоему, я – злодей?.. Я просыпаюсь в доме раньше всех. – Она подхватила шуточный тон споров, которые они любили когда-то, в детстве, вести.

Он разразился целой тирадой:

– А ты можешь представить себе Калигулу спокойно спящим?.. Нет, его мучают кошмары и кровь невинных вызывает к отмщению!.. А другой мечется в страхе потерять богатство. Третьего снедает зависть... А я никуда не рвусь, ничего не добиваюсь, – и дай мне бог проспать целый век!

– Станных понятий набрался ты в своем Лицее...

Губки ее собрались в смешливую гримаску – улыбку старшей сестры над чудачествами брата... В бухарском халате, с пудермантелем на плечах – небольшой, верткий, с копной курчавых волос, с неправильными, изменчивыми чертами и быстрыми, всегда играющими жизнью глазами – он казался ей очень забавным.

– Ты, однако, не знаешь: ночью был сильный пожар. – Ольга сделалась серьезной.

Но он продолжал:

– Думал ли Петр, что его столица – среди болот, на воде, под дождливым небом – может сгореть?.. Но когда все сгорит – мы вернемся в деревню. – Все же ему хотелось ее рассмешить. – Как Вергилий, я буду сажать капусту... – Он взглянул, улыбается ли она. – Как мудрец, жить дарами Флоры и Помоны... – Он сам ей улыбался. – Я отвыкну от шума, от толпы города...

Но она интонацией подчеркнула значительность своих слов:

– Матап встревожена!

Неужели он не понимал? Их матап со дня на день ожидала ребенка. Новый ребенок в их семье! Ольга всплеснула руками:

– Подумать только! – Она прижала руки к груди, будто задохнувшись от счастья.

Но потом разговор переменялся.

Как закончить убранство его комнаты? Не положить ли ковер у кровати? Не заменить ли обои и шторы?.. Но неужели не понятно всякому, что здесь поселился ученый, философ! На кровати, столе, стульях разбросаны бумаги, книги, журналы, здесь – чернильница, там – перья, тут – песочница... И неужели не видно всякому, что это – жилище светского молодого человека. В одном углу – лорнет, в другом – бальные перчатки, в третьем – модная трость, а на полированном столике перед зеркалом в небольшом костяном бюро безделушки, многочисленные принадлежности туалета.

Ольга вдруг вскочила со своего места.

– Что это?

В один и тот же момент брат и сестра бросились к столу. За лампой с экраном спрятана была тетрадка в сафьяновом переплете.

Они забежали по комнате с криками:

– Отдай! Не отдам! Мой дневник!.. Моська тряслась на руке Ольги и лаяла.

– «Ах, та chère³, я пишу тебе... – Пушкин сумел раскрыть тетрадь. Дневник был в виде писем к далекой подруге. – Судьба моя решена... Должна представить тебе новое лицо...»

Ольга вырвала тетрадку из его рук. Запыхавшись, они стояли друг против друга. Ее лицо покраснело от досады. Но в глазах брата видны были откровенные проказливость и смех. Вспомнилось детство... И они вернулись на свои места, очень довольные возней.

– Ну, хорошо... Раз уж ты прочитал... – сказала Ольга. – Скажи мне о... – Лицо ее опять порозовело, но теперь от смущения. – ...об этом... молодом человеке...

– Но кто это? – Он впервые о таком слышал...

– Но не может быть! – Ольга пытливо вглядывалась в его лицо. – Он служит с тобой вместе в Иностранной коллегии.

³ Моя дорогая (франц.)

Какая нелепость! Он захохотал. Со дня зачисления он не посетил службы еще ни разу!

– Он вполне порядочный молодой человек, – объяснила Ольга. – Принят у Лавалей. Но почему-то тамап не желает его принимать... – Голос у Ольги дрожал от волнения. – Он из семьи не богатой, не очень родовитой, но вполне приличной. Но тамап слышать не желает о таком знакомстве!..

Настроение ее вдруг изменилось.

– Ты жил в Лицее, – сказала она. – Теперь ты почти не бываешь дома и не знаешь, что у нас происходит... Лелька воспитывается в пансионе. А я?... Утро – мои счастливые часы. Я одна. Я читаю, я думаю... Но что потом? Ты еще не знаешь, вообще не представляешь, что значит жить у нас дома... – Она смотрела на него своими выразительными, прекрасными, теперь грустными глазами. – Жизнь пуста: визиты, рауты, разъезды, светские разговоры... Боже, как подумаю... – В голосе ее зазвучала горечь.

Высокая прическа, еще больше удлинняя фигуру, подчеркивала трогательную ее хрупкость, и шея у нее была тонкая, нежная, и плечи, прикрытые шалью, по-девичьи худы.

Он сочувствовал ей. Он любил свою сестру.

Она пригнулась к москве, у которой бусинки глаз и розовый носик едва виднелись среди ключев шерсти.

Снова вошел Никита.

– Пожалуйста к завтраку...

...Сменив халат на домашний сюртук, он явился в столовую.

Но как постарела бабушка, Марья Алексеевна! Ее немощность делалась заметнее с каждым днем – крупная голова с поредевшими седыми волосами и мягкими складками широкого лица все ниже клонилась к груди, как знак бессилья и покорности судьбе... А ведь он помнил, в Москве бабушка командовала всем в доме. Еще в Лицей она писала к нему бодрые письма. Теперь горничная ввела ее под руку, усадила на подушки, подвязала ей салфетку.

Раздвижной стол – неизменная сороконожка – стоял точно посредине залы. Эта обширная зала вместе с гостиной и диванной составляла ту парадную анфиладу, где мебель была старинная, собранная еще Марьей Алексеевной, и ее позолота, шелк сидений, блеск зеркал и граненых подвесок мог напомнить хозяевам времена, когда сами они были еще молоды, а их дом всегда заполнен островами, любезниками и шаркунами... Жилые комнаты обставлены были куда беднее.

Сотворив молитву, сели за стол: ушло время, когда за длинный лицейский стол усаживались за трапезу три десятка шумных приятелей...

– Martian, не помочь ли вам? – робко спросила Ольга.

Беременность преобразила Надежду Осиповну: х лицо ее отекло, смуглая кожа побледнела, глаза запали; огромный живот выпирал из-под шалей. Но за столом она желала оставаться хозяйкой – и сама разливала чай из серебряного самовара.

– Ради бога... осторожней, ma chere, – так же робко просил Сергей Львович, когда под струю кипятка она подставляла чашку или брала в руки серебряный чайник или фарфоровый молочник.

Тревога передалась и Пушкину.

– Нужен, может быть, врач? – Он спросил это с осторожной заботливостью, заметно смущаясь собственной нежности.

Но тяжелое состояние Надежды Осиповны сказалось на ее настроении.

– Врач приезжает каждый день. – Она недовольно поджала губы. – А ты не знаешь – ты не бываешь дома...

Некоторое время молчали. Потом разговор зашел о пожаре, случившемся ночью.

В комнате были слуги: лакей то входил, то выходил с подносом; прислонившись к дверному косяку, стоял почтенный Никита Тимофеевич – с внушительной внешностью, с густыми

баками – глава всей челяди, камердинер Сергея Львовича; посредине комнаты стояла старая няня Пушкиных, бывшая крестьянка бабушки Арина Родионовна.

Она уже побывала на пожарище и рассказала подробности. С пожарной каланчи Калининской съезжей, что возле провиантских магазинов, полымя заметили и вывесили фонари, и трубы прискакали вовремя, да помпы – вот беда! – были неисправны...

– Господи, от чего пожар-то возник? От пустяко-винки, от бездельной ссоришки, – рассказывала Арина.

Ей как будто очень уютно было стоять, сцепив руки на животе; крепкая, румяная – она клонила набок голову, с чуть тронутыми сединой, стянутыми назад волосами.

– Ага, от самой, значит, малости, – говорила она, по-псковски цокая. – Две бабы в теплюжке собрались. Слово за слово – и вышла ссоришка. Одна помело взяла, а другая его на двор!.. Бабы друг друга лупонят, за виски друг друга тазают, ты, дескать, такая, ты сякая – а во дворе уж горит, ветром искры раздуло. Ага!..

Арину слушали с улыбками – словечки ее казались удивительными... Только для Марьи Алексеевны, выросшей в глухой провинции, не знавшей даже французского языка, крестьянская речь Арины была обыденной.

– Сильный пожар, почитай, пол-улицы сгорело, – солидно вставил Никита Тимофеевич.

Но Надежда Осиповна сделала нетерпеливый жест, и разговор о пожаре закончился фразой Арины:

– Теперь, бенные, плачут... – и остротой Сергея Львовича, для которого игра словами составляла почти потребность:

– При нашем дворе нет прежней помпы, – сказал он, – и у пожарных команд слабые помпы...

Марья Алексеевна вспомнила о младшем внуке:

– Лёльке-то каково одному в пансионе...

И Надежда Осиповна повернулась к окну; по другую сторону Калининского моста, среди казарм, больницы и приюта для сирот, стояло здание пансиона при Главном педагогическом институте. Лицо ее напряглось, будто она силилась на расстоянии увидеть своего сына.

А Марья Алексеевна бормотала:

– Все этот бурбон... из подъячих... продал Россию... – Это она ругала Сперанского, который недорослей из хороших дворянских родов принудил к казенному образованию. – Себе-то, верно, миллион в карман...

Но Сергей Львович – куда более просвещенный, собиратель французской библиотеки, в которой были не только эротика, но и Вольтер и энциклопедисты, – возразил:

– Конечно, Сперанский – не бог знает что, но... его оклеветали!.. – Тончайшим батистовым платком он коснулся ноздрей с глубокими вырезами, а этот жест предвещал приступ ораторства.

– Сперанский был принесен в жертву ради единения России – это все знают! Но дело не в Сперанском! Древние наши роды в упадке... – Это была любимая его тема. – Кто ныне у власти? Кто первые наши вельможи? Когда меня вызвали в Гатчину, к великому князю Павлу, тогда еще наследнику престола, мне дверь в кабинет отворил нынешний граф и андреевский кавалер Кутайсов, – потому что тогда он был просто камердинер, брадобрей... А наши Разумовские? Кирилл Разумовский был свинопас, когда Алексей Разумовский попал в случай к Елисавете... А Перовский? А Ягужинский? А Лаваль? Вот наша новая аристократия!.. – Лицо Сергея Львовича самым живым образом изображало презрение.

Вдруг направление его мыслей изменилось.

– Я встретил недавно управляющего Иностранной коллегией, Петра Яковлевича Убри, – обратился он к сыну. – Ты вовсе не посещаешь Коллегии? – Он решил, что пришло время для

отеческих наставлений. – Ты должен сдать экзамен, ты должен быть причисленным к миссии!.. Я ничего не пожалел для твоей карьеры... Ты лично известен государю. И ты должен...

Но его сына слово должно привело в раздражение.

– Я уже не школьник, – напомнил он.

Теперь он поглядывал на отца с неудовольствием. Все же, когда Сергей Львович приезжал в Лицей, он выглядел величественней. Все же в характере Сергея Львовича проглядывали мелкость и тщеславие. Он прищуривал глаза, чтобы взгляду придать выражение пристальности, и раздувал ноздри, чтобы выразить душевное волнение... Это был господин небольшого роста, с перстнями на пальцах, с проворными движениями и уже сильно со лба облысевшей головой. Надежда Осиповна беспокойно принюхалась:

– Печи дымят...

Да, как раз в эти часы, когда господа встали, печи растапливались.

– Заслонки, вьюшки – это я проверил, – сказал Никита Тимофеевич. – Велел тепереча угли солью посыпать.

Завтрак подходил уже к концу, когда, к несчастью, вспомнили о бале у Лавалей – великопном празднестве, на котором побывал почти весь Петербург; вспомнили кадрили и гротеск-фатер под гром оркестров; вспомнили сервированные серебром, фарфором и хрусталем столы, протянувшиеся от стены до стены; вспомнили залы, иллюминированные бесчисленными огнями люстр, жирандолей и кенкетов; вспомнили домашний спектакль; и, конечно, вспомнили о знакомстве как раз на этом бале Ольги с неким молодым человеком – и Надежда Осиповна заговорила сразу с запальчивостью, с покрасневшим от гнева лицом:

– Как ты могла себе позволить, как могла так низко пасть!

На глазах у Ольги выступили слезы. Вид у нее сделался самый несчастный.

– Но, тамаа... Но что такого я сделала?

– Ты спрашиваешь? – Заботы о взрослом сыне теперь были делом отца, но воспитание дочери до замужества целиком лежало на Надежде Осиповне.

Ольга оправдывалась:

– Его представила хозяйка, Екатерина Ивановна, вы сами видели... – Она от смущения краснела и прятала глаза. – Как же могла я отказать? – Нервное лицо ее еще больше вытянулось, а тонкие брови выгнулись крутыми дугами. – В чем вы упрекаете меня, тагааа? – В ее голосе были стыд, боль, отчаяние...

– Вы не отходили друг от друга! – вскричала Надежда Осиповна. – И теперь кто угодно может судачить, ждать сговора, оглашения – а этого ничего не будет! Ты губишь свою репутацию!

Это уже было слишком. Двадцатилетняя Ольга, закрыв лицо, залилась слезами.

Марья Алексеевна сказала ласково:

– Эх о ком плачешь... Ты не какая-нибудь девушка без судьбы, без приданого...

А Арина подхватила со своего места:

– Ничего, невеста не малина, не облетит. Да и что за жених такой выискался: на брюхе шелк, а в брюхе – щелк...

– И зачем он у Лавалей принят?.. – сказал Сергей Львович. – Впрочем, кто такой граф Лаваль? Сын виноторговца! Он и титул купил за деньги...

В это время слуга доложил:

– Графиня Катерина Марковна Ивелич!

И почти тотчас в залу тяжелой походкой вошла рослая, угловатая девица, безвкусно одетая, в безвкусной шляпке, похожей на военную каску.

Послышались восклицания:

– Дорогая графинюшка... Мамаа... милая кузина... Катерина Марковна Ивелич, кузина, дальняя родственница, жила в соседнем доме на набережной Фонтанки.

Быстрыми глазами оглядела она сидевших за столом. Впрочем, она была своим человеком.

– Чашечку чая?..

– Я лишь на минутку, татап, дорогая, я увезу Ольгу в ряды на Гостиный двор – вы не возражаете?

Ольга отошла к окну и прижала пальцы к вискам.

– Как давно вас не было видно, – сказал Пушкин, который терпеть не мог этой кузины, надоедавшей каждодневными визитами и привозившей из города дурные сплетни о нем.

У Ивелич язычок был острый.

– Уж не соскучились ли вы?.. Впрочем, вы сами виноваты: вас нельзя застать дома. – Она нарочно повторяла именно то, в чем дома его упрекали.

– Конечно, я соскучился по вас пти-кузина. – Он играл словами, называя ее троюродной сестрицей и в то же время намекая на высокий рост.

– И я соскучилась, пти-братец... – Она, в свою очередь, намекала на его маленький рост.

Вот карикатура на женское очарование! Лицо у нее было грубое, с длинным носом и острым подбородком.

– При нашем дворе нет прежней помпы, и у пожарных команд слабые помпы... – сказал Сергей Львович. – Ты слышала, дорогая, какой ночью был пожар?

– А я не пожалею, если сгорит вся Коломна, – воскликнула Ивелич. – Отвратительная окраина! Кем мы здесь окружены? Служилый люд, держатели питейных домов, хозяева мелочных лавок.

Из вышитого мешочка, в котором женщины носят вязание, она вытащила коробочку с прессованным табаком и угостила себя понюшкой.

А Пушкин мысленно сравнил ее с гусаром, переодетым в юбку. Да от такой дамы нужно бежать!.. И он взглянул на часы!

– ... Как только на улице появится карета, – продолжала Ивелич, – из всех окон смотрят любопытные. Здесь только и бегают по тяжбам, толкуются в лавочках и рассказывают, как ундер Шумарев прибил свою жену. Это самая сырая, самая низкая часть Петербурга – любое наводнение прежде всего начнется именно здесь...

Недаром Надежда Осиповна желала переезда! Пушкины снимали второй этаж в двухэтажном доме в старой Коломне – с полудеревенскими-полугородскими строениями, с длинными заборами и дощатыми настилами вместо тротуаров.

Все же Пушкин ускользнул в свою комнату. Дождь по-прежнему моросил. Но в молочно-серых, низко нависших облаках вдали будто обозначился просвет. Дождевые капли скатывались по оконному стеклу. На обширном дворе, среди полениц дров, заготовленных на зиму, тянулись по грязи глубокие колеи от кареты, которую вкатили в сарай...

Стоя у окна, он думал о том, что жизнь Петербурга, в которую он окунулся, пестра, сложна, сумбурна и в множестве впечатлений нужно разобраться. Но в том новом круге друзей, который он обрел, главное можно было определить одним словом, это слово было – свобода. Он хотел писать стихи о свободе.

Но как? О вольности грезил, вольностью восхищались, вольность восхваляли, без вольности не могли жить, – а он вспоминал уроки Куницына об естественном праве и хотел понять пружины, которые держат и государство и вольность и препятствуют тирании.

В его комнате на столе, стульях, в шкафу и на подоконнике лежали журналы, книги... Жажда знаний требовала для утоления все новых и новых источников...

Но сейчас он готовился к выходу из дома и сел за туалетный столик перед высоким зеркалом в обветшалой раме.

Вошел Никита, держа в руке красненькую и медяки. Невероятное происшествие: барин выплачивал дворне жалование! Такой редкой сцены пропустить было нельзя – он бросился в кабинет к отцу.

Среди обширной библиотеки, за столом с изящным чернильным прибором, барин сидел в кресле и самым феодальным образом допускал людей к целованию руки. Сергей Львович и сам не знал, отчего у него вдруг оказались деньги: то ли заемный банк забыл взыскать проценты и пени, то ли из деревни прислали больше, то ли, напротив, сильный пожар в деревне освободил на год от налогов, – но он был в самом радостном расположении духа и, увидев сына, жестом указал на канapé, желая, как некий владелец замка и майората, познакомить наследника с обязанностями хозяина.

Дворне задолжали за много лет. Слугам полагались сюртуки, камзолы на полтора года, нижнее платье на год, деньги на рубашки и обувь... Женщинам полагались кофты, платья, деньги на рубашки... Дворни, помимо камердинера Никиты Тимофеевича и дядьки Никиты, было человек двенадцать: верхняя прислуга – горничные, буфетчик, лакей; нижняя прислуга – кучер, кухонные бабы, прачки... Недаром говорится, что дворня – разорение для господ!..

– Кланяйся моим знакомым, – сказал Сергей Львович сыну, не без некоторой зависти глядя на него: тот был волен, как ветер.

Пушкин был одет щеголевато. Фрак на нем был самый модный – с нескошенными фалдами, широкий, а l'américaine; жилет вспыхивал цветными пуговицами; панталоны были предельно узкие, с небольшими разрезами внизу, а высокий, подпирающий шею воротник повязан белоснежным галстуком...

Няня Арина перекрестила своего питомца.

– Повеселись, батюшка. Небось и рюмка пустой гулять не будет... – И сказала это так, будто и сама не прочь была с ним повеселиться.

Дядька Никита подал редингот, атласную шляпу с широкими полями а la Bolivar – и Пушкин заспешил из дома.

III

Он сбежал вниз по лестнице.

Дул ветер и нес запах моря, испарения болот и брызги дождя. От обилия влаги, казалось, даже розовато-серый гранит парапетов потемнел. Вода в реке сделалась черной и так высоко поднялась, что баржи, груженные дровами, возвышались над оградой набережной.

С каким-то упоением восторга оглядел он мрачную панораму – пейзаж города, напоенного влагой, суровые, резко прочерченные линии, тянувшиеся вдаль: линию реки, линии парапетов, линии домов. Дождь, ветер, хмурое небо – нисколько не нарушили ощущения собственной легкости, радости, свободы... Он жадно вдохнул промозглый, но освежающий воздух.

Можно было идти Английским проспектом, или, коротким путем, по Садовой, или вдоль набережной.

Мимо пронеслась карета с опущенным стеклом окошка – мелькнуло женское личико... Он помахал рукой незнакомке. Торопливо шагал чиновник во фризовой шинели с медными пуговицами, неся под мышкой сумку с деловыми бумагами... Он посмотрел ему вслед. В полосатой будке дремал на скамье инвалид-солдат, обхватив руками алебарду... Он мысленно представил тяжкие его заботы. Петербург разворачивал перед ним на каждом углу свои повествования.

...На набережной Екатерининского канала между Харламповым и Вознесенским мостами былолюдно. Взад и вперед фланировали молодые щеголи в цилиндрах и гвардейские офицеры в нарядных мундирах. Здесь, в трехэтажном здании, размещалась знаменитая Императорская театральная школа!

Пушкин обменивался приветствиями, шутками, с кем-то обнялся, кому-то помахал рукой... Вот в открытой коляске промчался, стоя во весь рост и размахивая шляпой, бравый офицер, с развевающимися по ветру полами шинели, и в тот же момент в окне третьего этажа, за стеклами, из предосторожности наполовину забеленными, показалось улыбающееся юное личико – там размещались женские дортуары! И снизу, вместе с громом копыт и треском колес, ей посланы были воздушные поцелуи...



Это получилось эффектно!

Рядом с Пушкиным оказался знакомый офицер в мундире уланского гвардейского полка – высокий и мощный, с грозно топорщащимися нафабранными усами. Широкая и яркая полоса на чакчирах говорила о кавалеристе. Это был Якубович. Принялись вместе выхаживать вдоль канала, извивавшегося будто в тесноте между двумя соседними мостами.

У Якубовича в школе был предмет – четырнадцатилетняя мадемуазель Дюмон: он покровительствовал ей, посылая сладости и подарки, рассчитывая после выпуска взять на содержание. Пушкин заливисто хохотал, клялся, что и он влюблен, и даже назвал Лихутину. Эту воспитанницу он видел лишь мельком, но не хотелось ударить лицом в грязь перед бравым офицером.

– Как бы пробраться в школу! – воскликнул он. Но проникнуть в святилище, где обитали юные служительницы Терпсихоры и Мельпомены, удавалось лишь редким счастливым.

Вот один из таких счастливых подошел к двери школы.

– Не господин ли это Вальвиль?

В самом деле, по безупречной выправке и легкому шагу он узнал в господине в осеннем рединготе и высоком цилиндре лицейского своего преподавателя фехтования – и бросился к нему.

Француз, ставший модным в великосветском Петербурге, не удивился, встретив здесь бывшего своего ученика.

А Пушкин не удержал восклицания, которое должно было передать всю важность перемены, произошедшей в его жизни.

– Я здесь, господин Вальвиль! – Это означало, что теперь и он – недавний лицеист – имеет право дежурить у театральной школы.

Вальвиль, любезно улыбаясь, оглядел безупречное одеяние нового денди... О, пусть не просит его господин Пушкин о невозможном! Он в школе ведаёт постановками батальей, но школа охраняется, как замок, о каждом происшествии докладывается чуть ли не самому государю, воспитанниками интересуется сам генерал-губернатор Милорадович – здесь не только место, но и голову потеряешь...

В открывшихся дверях появился приземистый, с бычьей шеей, с большим животом швейцар в яркой ливрее с басонами, и Вальвиль исчез в здании, которое вовсе не напоминало замок: на фасаде краска облупилась, штукатурка осыпалась, подворотня вела во двор, где помещались конюшни, сараи и подсобные флигеля.

Вдруг подкатила коляска, и маленький, худощавый старичок в меховой шубе, без шляпы, с трепещущими под ветром седыми, завитыми буклями почти выпрыгнул из нее. И взволнованный говор пронёсся по толпе. Это был сам Дидло, знаменитый балетмейстер...

Пушкин и Якубович продолжали свою прогулку.

– Однажды в театре я прошёл за кулисы, но не в своей одежде, а в наряде сбитенщика, – рассказывал Якубович о многочисленных своих театральных приключениях. – Представляешь: несу вместо сбитня горячий шоколад в самоваре – да старый черт, театральный зритель, меня узнал!.. – Якубович, даже говоря чепуху, производил на Пушкина впечатление: голос у него был хриплый, свистящий, густые брови вычерчивали прямую линию, а выпуклые глаза из-за множества прожилок казались красными, налившимися бешенством.

С Якубовичем здесь, на набережной, почтительно здоровались. В поведении с ним других офицеров проглядывала даже искательность. Якубович был весьма известен как дуэлянт, почти профессиональный дуэлянт, почти идеальный *homme d'honneur*⁴ – и дружба с ним льстила Пушкину.

Из подворотни школы вышел чиновник в долгополой, горохового цвета шинели и форменной фуражке, он оказался знакомым Якубовича, и, став в сторонке, вблизи решетки набережной, они заговорили о чём-то приглушёнными голосами...

– Прекрасно! – объявил Якубович, возвращаясь к. Пушкину. – А пока у нас есть свободное время – не зайти ли в отель?

Весь этот район был театральным, соседний обширный дом Голидея – с аркадами и колоннами – занят театральной конторой, театральной типографией, нотной мастерской, во всех домах сдавали квартиры артистам, а в одном из флигелей предприимчивый итальянец Джульяно Селли держал – главным образом для артистов – ресторан с «кабинетами»: «Hotel du Nord»⁵. Это был обыкновенный трактир – с дешёвыми занавесками на окнах, с неряшливой стойкой и разбитым бильярдом.

Народу было не много. Половой, с полотенцем через руку, подал водку, – закуску и горячего чаю с ромом.

– Не ты ли в правительство плюнул новой эпиграммой? – спросил Якубович.

Он с высоты своего роста внимательно вглядывался в подвижное, беспечно-жизнерадостное лицо юного своего приятеля. Заговорив о поэзии, которую он ценил, Якубович сделался серьёзным.

⁴ Человек чести (франц.)

⁵ Северная гостиница (франц.)

Ах, вот что к нему, недавнему выпускнику Лицея, влекло этих блестящих гвардейских офицеров, знаменитых повес и бретеров, доказавших свою храбрость, презрение к смерти на полях сражения и на дуэлях! Пушкин засмеялся, польщенный, смущенный, но и раздосадованный. Ему теперь часто приписывали все, что ходило по рукам, – будто уж никто, кроме него, не годился в авторы. Эпиграмма, о которой сейчас шла речь, по какофонии звуков, по грубости слова, по неточности рифм никак не была его. Он хотел, чтобы эти офицеры видели в нем не только поэта, но и такого же удалыца и храбреца, как они сами!..

Достав карандаш, Пушкин на салфетке легкими штрихами набросал профиль лихого кавалериста, отчаянного рубаки, пытаюсь изображением вскинутой брови, мощного подбородка, грозно задранного уса постигнуть характер, который его поразил.

– Не скажешь ли ты... – В эту минуту дружеского расположения и откровенности он хотел расспросить о тайном обществе, о котором шептались все и в которое он твердо намеревался вступить.

Он нарисовал на салфетке маленький квадрат – условное обозначение масонской ложи.

– Нет, я не масон, – сказал Якубович.

– Я тоже, – сказал Пушкин. – Но что ты знаешь об обществе?

– Только то, что знают все... – ничуть не затрудняясь, сказал Якубович и прихлебнул чай. – У них всякие страшные масонские обряды и клятвы. И кажется, они готовы покончить с Августом. Если так, я готов вступить!..

Под Августом разумелся Александр.

– Август давно смотрит сентябрем!..

Это было общее мнение: Александр не оправдал надежд, которые когда-то возбудил.

– А теперь даже октябрём!..

Это было общее разочарование: Александр не собирался выполнять либеральных своих обещаний.

– И даже – ноябрём!.. – Якубович сдвинул брови, а выпуклые его глаза теперь смотрели так бешено, будто он готов был уже сейчас выкинуть нечто отчаянное.

Обрадовавшись, Пушкин пожал Якубовичу руку: они вместе вступят в тайное общество!

Между тем за столом, неподалеку от стойки, уставленным грязными тарелками, стаканами и пустыми бутылками, двое пьяных, по-видимому актеров, один – с красным платком на шее, другой – вовсе без манишки, ссорились с буфетчиком.

– Платить надо, господа! Вон идите! – гудел густым басом буфетчик, краснолицый детина, в фартуке и с закатанными рукавами рубахи.

– Ишь ты – вон!.. А дальше что?

– Что же дальше, и так близко!..

Из бильярдной доносился стук шаров. Стелился табачный дым.

Якубович доверительно сказал Пушкину:

– Ты знаешь, какая забава предстоит? *Partie carrée*⁶.

– Вот как! – Все касающееся дуэлей имело для Пушкина первостепенную важность.

– Ты знаешь Васеньку Шереметева, кавалергарда? С Завадовским ты служишь? С Грибоедовым ты знаком? И я...

И он рассказал дуэльную историю, связанную с балериной.

– Сегодня в театре мы встречаемся, чтобы договориться об условиях.

– Я буду в театре, – взволнованно обещал Пушкин.

– Что же, господа, квартального вызывать? – гудел грузный буфетчик, переваливаясь через стойку. – Вы не на сцене – сиятельных князей разыгрывать... Вон пошли!

– Нам пора, – сказал Якубович.

⁶ Дуэль вчетвером (франц.)

...Из подворотни Театральной школы опять вышел знакомый чиновник – теперь в сопровождении двух мастеровых в запачканных краской одеждах и в картузах. Чиновник сделал чуть заметный жест Якубовичу, Якубович последовал за ним, сделав знак Пушкину, позади плелись мастеровые, и вся группа прошествовала вдоль набережной...

Начался какой-то сон наяву, какой-то сумбур, и события так стремительно следовали друг за другом, что память едва успевала удерживать подробности...

Чиновник, с проворными белесыми глазами, рябым лицом и длинными, вылезающими из рукавов, худыми кистями, ввел их в дом...

В обывательской квартире, почти без мебели, началось шутовское переодевание в пахнущие мастикой порты и рубахи. Мастеровые, оставшись в белье, изумленно поглядывали на дорогие одежды, развешанные на стульях... На клеенку стола щедро сыпались золотые монеты... И снова набережная. Вдруг начал падать, пополам с дождем, снег. Вдруг задул ветер и запахло водой, будто Финский залив надвинулся на город. Шли мимо дровяного склада, где не переставая лаяла собака. Набережная в мельтешащем снеге казалась пустынной, холодной со своими чугунными решетками, полосатыми фонарями и каменными полукружьями спусков в воде.

– Господа, я головой рискую... – хриплым от волнения голосом говорил чиновник. – Я только по дружбе...

Повернулась тяжелая дверная ручка, заскрипели дверные блоки, в стекле двери поплыло отражение облачного неба, и мнимые полотеры проскользнули мимо швейцара...

И вот – лестницы, стены, запахи, краски, звуки незнакомого дома. Какие-то подростки, худые и бледные, в одинаковых бланжевых куртках, попадались навстречу... Высокая худощавая дама – не госпожа ли Казаси, грозная главная надзирательница школы? – показалась в конце коридора... Чиновник судорожно глотнул слюну...

– Господа, сюда.

Они оказались в полутемном, пахнущем сыростью помещении.

– Господа, всего одну минуту...

Сквозь небольшие оконца в беленой, пачкающей стене виден был танцевальный класс. Класс был обширный. В пасмурный этот день по его углам зажжены были свечи – и багровые язычки пламени мигали... Посредине, суковатой палкой отбивая такт, стоял Дид-ло. Другого такого лица быть не могло: длинный, горбатый нос маэстро нависал над неестественно удлиненным подбородком, подбородок тонул в пышном жабо, – и все костлявое, рябое лицо непрерывно двигалось, дергалось, кривлялось... Но не на Дидлю нужно было смотреть. В один и тот же момент оголенные ноги девушек взмыли вверх, потом, отставленные в сторону, оголились еще больше, а над изогнутыми торсами трепетно повисли заломленные руки.

– Господа, больше невозможно... – зашептал чиновник.

Дидлю с силой застучал палкой, и лицо его исказилось гневом.

– *On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif*⁷ – закричал он тонким визгливым голосом. – Ду-ры!..

– Господа, прошу вас... – Чиновник, за минуту заработавший полугодовое жалованье, подталкивал их к двери.

О, что довелось им испытать... Браво! Брависсимо! Но какова Дюмон – румяная, крупная девочка, стоявшая справа?.. А какова Лихутина?.. А каковы все? О, в мире нет ничего, что могло бы сравниться с женской красотой... И они еще около двух часов протолкались у школы, дожидаясь момента, когда воспитанниц повезут в театр.

Наконец длинные, высокие, окрашенные в зеленый цвет – императорский цвет, фуры подкатали к подъезду. Швейцар, приоткрыв дверь, оглядел дорогу.

⁷ Нельзя заставить пить осла, у которого нет жажды (франц.)

Вот к фурам приставили лесенки. И наконец, окруженные гувернантками и надзирательницами, высыпали молоденькие воспитанницы в казенных, будто выкроенных из одного куска фриза, салопчиках, в одинаковых платочках – и толпа поклонников встретила их восторженными кликами, влюбленными взглядами, конфетами и подарками, и, пока воспитанницы поднимались в фуры, взгляды встречались и записки переходили из рук в руки!..

Молодые шалопаи бросились к коляскам и экипажам, выстроившимся длинным рядом вдоль набережной. У Якубовича тоже нанята была извозчичья пара. Бородатый кучер, не мешкая, тряхнул вожжами и истошно закричал:

– Н-ну, милые!..

И понеслись, нагоняя, обгоняя, окружая фуры, – по воздуху полетели пакеты с конфетами и кульки с пряниками, а развращенные вниманием двенадцати-пятнадцатилетние девчонки чинились между собой и считали, кому досталось больше восхищения и подарков...

Шумный поезд выкатил в Мариинский переулок. Месиво нападавшего и растаявшего снега вылетало из-под колес. Вот и Офицерская – а впереди площадь с Большим каменным театром... Вдруг из-за поворота вынеслась коляска петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича с вздыбленными на скаку одномастными рысаками.

– Сворачивай! – закричал Якубович, тыкая кулаком в спину кучеру.

Милорадовичу лучше было не попадаться навстречу. Извозчик свернул в переулок.

– Ну, прощай, – сказал Якубович. – До вечера... Он перед театром пообедал у друга своего Шереметева, а Пушкин – с приятелями в ресторане «Talou».

...Падал снег. Сидя верхом на тряской гитаре – коротком бруске на колесах, – он выкатил на Невский. Двумя встречными потоками лились по сторонам высокого насыпного бульвара, обсаженного липами, кареты, коляски, линейки, гитары, дрожки, брички. С жадным любопытством оглядывал он прямую как стрела оживленную улицу, лишённую тротуаров, с толпой гуляющих по бульвару, с бесчисленными вывесками, кричащими на всех языках о торговле:

Handlung, Commerce, Vente, с нарядными витринами, за зеркальными стеклами которых то английские гравюры, то французские сюрпризы, то фарфор, то хрусталь и сукно, то дамские принадлежности, и рядом с особняками, украшенными античными портиками, ампирными фронтонами или барочной лепниной, – кондитерские, в которых едят, пьют, читают газеты, и снова витрины с ящиками сигар «Domingo», или искусственными цветами, или блондами, зонтиками, драгоценностями...

Снег повалил крупными хлопьями – и дома, проглядывая сквозь белую пелену, показались легкими, по-особому нарядными.

Какую полноту жизни он ощутил, какие силы, какую энергию! Всплеск радости был так силен, что он приподнялся на бруске гитары, упираясь рукой в широкую кучерскую спину с жестяной номерной бляхой. Впереди виднелась игла Адмиралтейства. Но его мечты и надежды унеслись выше этой иглы, выше шпиля Петропавловского собора, выше императорского штандарта на Зимнем дворце – и все потому, что душу заполняло ощущение красоты.

IV

Громоздкий портик с мощными коринфскими колоннами вел в круглый, легкий вестибюль.

Театр!.. Храм искусства – но и ежевечерний клуб, в котором можно обменяться новостями и мнениями...

Толпа растекалась по лестничным маршам, устланным коврами, по фойе, тоже круглым, высоким, и заполняла кресла, партер, ярусы... Переливы нарядов мешались с переливами огней, и говор плыл вместе с толпой.

– Вы из Москвы, князь? Что нового?

– Des betises... Mais ce n'est pas du nouveau⁸.

– Слышал? Умер Яковлев – какая потеря!.. – А мы абонируем ложу...

– Нужен вкус, господа, вкус – вот чего не хватает нашим писателям...

Вот Жуковский! На молочно-белом и кротком его лице выразилась радость от встречи с Пушкиным. Он смотрел на юного поэта с той влюбленностью, с какой может смотреть уставший от одиночества человек на чадо, которое наконец-то обрел. Он прижал руку Пушкина к себе, будто боясь отпустить его на волю случая, в водоворот жизни, и улыбался вслед за его улыбкой, и смеялся вслед за его смехом...

Вот Александр Иванович Тургенев – давний благодетель, помогший поступить в Лицей, потом помогший вступить на службу... Толстый, сановитый, он тоже остановился послушать Пушкина – будто ожидал от этого совсем молодого человека нечто чрезвычайное...

Здесь можно было встретить всех!

Под скрип блоков и треньканье канатов тяжелый малиновый занавес с расшитой золотом Триумфальной аркой толчками взмыл вверх – сначала скрылась колесница славы, затем гений победы, затем статуи воинов, – и взгляду предстала вся сцена с глубокими задними кулисами и нарядными декорациями.

Шли «Липецкие воды» Шаховского. Пустая пьеса! Эту пьесу Пушкин читал, знал от начала до конца, даже когда-то писал на нее критику. Кто такой князь Холмский? Надутый педант, утомительный проповедник, он приезжает в Липецк лишь для того, чтобы пошептать на ухо своей тетке в конце пятого действия. Кто такой Пронский? Мы не знаем, у него нет характера. Кто такая горничная Саша? Всего лишь французская субретка... Нет, Шаховской – дурной писатель, и этот дурной писатель враждебен тем, кого Пушкин почитал своими единомышленниками, тем, кто объединился в литературном обществе «Арзамас». В «Арзамас» Пушкин готовился вступить.

Но театр преобразил даже эту пьесу! Когда герои войны – князь Холмский или Пронский, – выпятив грудь, потряхивая пышными эполетами, со сцены бросали патристические фразы:

«Как в Липецк мы внесли спасение вселенной!»

«И к славе наш народ вселенной дал пример!»

«И когда в Париж войти всевышний нам помог!» – зал гремел неистовой авацией.

Когда престарелый волокита, любитель заграницы, барон Вольмар, признавался, что ... сжег в два года миллион На разных фейерверках... – раек раздражался хохотом, а когда барон Вольмар делал нелепые галантные поклоны – в райке от хохота хватались за животы.

Когда по сцене вразвалку проходил буйный гусар Уваров – арзамасцы протестовали шиканьем: дерзкий Шаховской намекал на старосту «Арзамаса», почтенного Василия Львовича Пушкина, автора знаменитого «Опасного соседа». А друзья Шаховского ликовали.

⁸ Глупости... Но это не ново (франц.)

Да, какое-то волшебство было разлито в самом воздухе театрального зала!..

Щедрость, даже расточительность были в обилии позолоты, в затейливости лепнины, в ослепительности огней. Нижние ложи выступали вперед – в их глубине, в ярком свете огней розовая дымка плавала над красным бархатом, и вверх устремлялись легкие резные колонны, над ними – украшенные гениями аркады, еще выше – золоченый барьер парадиза, – и подковообразный, на итальянский манер зал в нарядном венке пяти ярусов возносился к расписному плафону с знаками зодиака, богинями и музами...

Он направлял подозрную трубку то на сцену, то на ложи... Вот в ее овале, как миниатюра в раме, явилась прекрасная девушка – Наталья Кочубей; когда-то он танцевал с ней на лицейских балах, множество лицеистов увлекались ею, и он тоже, хотя и не долго, был влюблен, – боже мой, как с тех пор она расцвела!.. А вот Каташа Лаваль – тоже прелестная, тоже необыкновенно изящно одетая...

И в антракте он побывал в ложе Кочубеев, в ложе Лавалей, в ложе Олениных, в ложе Трубецких, в ложе Соллогубов – и жадно вглядывался в таинственную роскошь женских нарядов из рюша, кружев, кисеи – будто бы прикрывавших тело, но оставлявших обнаженными руки, плечи, шею, – в белизну высоких перчаток, в колеблющиеся перья шляпки, готовый влюбиться и снова влюбиться в нежную матовость кожи, в звуки голоса, в бархатную мягкость глаз, в чистую линию лба – во все, что составляет женскую прелесть...

Улыбки, поклоны, приветствия, рукопожатия, новости, острые словечки, намеки, шутки... Все, что было в Петербурге мыслящего, значительного, утонченного, собиралось ежевечерне в театре.

– Неужто храм Христа в Москве... Нелепость!

– *Des balivernes...*⁹

– Неужто победа мистиков?

– А вы не знали, что точка означает творца, круг – творение, а диагонали – крест?..

– Великолепно! *Est-ce que le tsar est vraiment en proie a cette idee mystique?*¹⁰

– Место ли здесь говорить?

– Почему бы и нет!..

...Здесь, в театре, встречались сословия! В креслах вспыхивало золото эполет, аксельбантов, орденов генералов, сенаторов, важных вельмож... На длинных скамьях без спинок сидели, а в проходах зала стояли чиновники, офицеры, купцы... В райке, под облаками плафона, ютились лакеи, горничные, артельщики, сидельцы магазинов... Это был политический клуб, здесь были левый и правый фланги, здесь вступали в споры приверженцы новизны и старины, либералы и погаси л ь ц ы, сторонники европейского просвещения и российской самобытности, приверженцы статс-секретаря Нессельроде и статс-секретаря Каподистрии, участники разных литературных партий, ценители русской или французской труппы, – и как разгорается пламя от масла, так в театре разгорались страсти... Молодые люди, желая смутить актрису, которой покровительствовал вельможа, шикали, стучали тростями, громко кричали не надо, пока сам петербургский генерал-губернатор граф Милорадович – в облитом золотом мундире со звездами и крестами – не поворачивал в сторону озорников свою скульптурно вылепленную голову с горбоносим лицом и не усмирал их грозным взглядом своих темных глаз южанина...

Пушкина подхватил под руку чопорный господин с черной повязкой, закрывающей глаз, и следами оспы на лице – это был Гнедич, поэт, уже знаменитый опытами перевода Гомера.

Если Жуковский дарил Пушкину дружбу и отеческую любовь, то Гнедич высказывал безусловное преклонение перед юным гением. России нужен великий поэт! И он полагал, что

⁹ Анекдот (франц.)

¹⁰ Неужто царь совершенно захвачен мистикой? (франц.)

этот поэт наконец явился в образе курчавого, легкого, гибкого молодого человека, с изменчивым подвижным лицом и странно широко расставленными голубыми глазами...

– Я познакомлю тебя с Павлом Александровичем Катениным, – сказал он. – Это будет тебе полезно.

И повел Пушкина по театральному проходу.

– Любезный Павел Александрович, – сказал он гвардейскому полковнику, сидевшему в кресле прямо и строго. – Позвольте представить вам лицейского Пушкина... – Титул лицейский отличил молодого Пушкина от всем известного Василия Львовича, его дяди. – Конечно, вы его знаете по чудесным стихам, по таланту...

– Всего лишь по склонности, – резко возразил полковник и даже откатнулся к спинке кресла, будто желал сохранить необходимую дистанцию. Надменность была написана на круглом и румянном его лице. – Рано еще говорить о таланте... – Сам он был весьма знаменит: автор простонародных баллад, театральный переводчик, литературный критик и эрудит. – Да-с, рано, рано говорить о таланте! – Он сдвинул брови, и усы его, казалось, тоже грозно шевельнулись.

Будто ушатом холодной воды окатило Пушкина. Но любопытство и интерес к необыкновенному человеку сразу же пробудились. Может быть, грозный и самоуверенный Катенин что-то знает, чего другие не знают, и чему-то может научить?..

– Я страдаю ужасным пороком, – продолжал между тем Катенин. – Говорю в лицо правду! – И опять откинулся к спинке кресла. – Вы принадлежите, я знаю, к новой школе. Прекрасно! Я знаю насмешки новой школы надо мной, над варягороссами, над приверженцами старины и прочее, и прочее, – прекрасно! – И тут по выражению лица полковника Пушкин понял, что этот человек болезненно самолюбив: напряженно сведенные его брови будто пытались уловить малейшее оскорбление. – Позвольте, однако, спросить самих насмешников: вы отвергаете славянизмы. Прекрасно! Но каким же языком прикажете писать эпопею? Или важную прозу?..

– Легкий слог возможен без славянизмов, – возразил Пушкин.

– Не в легком слоге заключается словесность! – громко вскричал Катенин, и сразу же несколько человек подошли послушать знаменитого оратора. – Легкий слог не занимает в словесности первого места. Даже важного места. Он вообще не имеет существенных достоинств, он нужен лишь для роскоши, для щегольства...

Пушкин, оглянувшись, убедился, что он в стане литературных врагов «Арзамаса».

Неподалеку в кресле громоздился князь Шаховской. Его огромный живот, круглая лысая голова, будто без шеи росшая из плеч, и мясистое лицо с тонкими губами и крючковатым носом – невольно приковывали внимание. Вот он, Шаховской! Чего только не рассказывали об этом человеке! Как начальник репертуарной части – он присваивал чужие произведения, как человек всемогущий в театральном мире – был гонителем молодых талантов; он был интриган и завистник, это он погубил несчастного Озерова, это он дерзко напал на Карамзина, это он с подмостков театра оскорбил Жуковского...

Гнедич стоял в стороне. Он не принадлежал ни к «Арзамасу», ни к «Беседе». Но он твердо знал, что идеал красоты, равный античному идеалу, жившему у него в душе, Катенину не доступен, но доступен Пушкину.

– Читайте мои баллады! – решительно сказал Катенин. – Они народные. Они выше, куда выше жеманных стихов карамзинистов... – И он опять откинулся в кресле, указывая на дистанцию между ним и Пушкиным.

На Пушкина нахлынуло волнение – будто собственный путь к славе представился ему. Он задышал полной грудью. Огни бесчисленных ламп, кенкетов и свечей сделались ярче. Каждая мелочь врезалась резче в память. Лица людей показались значительнее, их голоса – звучнее, а женщины – в этом великолепном, будто драгоценная оправка, зале – еще прекраснее.

Вот его давний приятель Каверин – бравый гусар, с усами, как острия пик, надушенный, напомаженный и, как всегда, переполненный жизнерадостностью. Каверину было чему радоваться – он участвовал секундантом в славной дуэли, *par tie carree*, – и повел Пушкина в отдельное фойе, где несколько молодых людей желало обсудить вопросы, связанные с *point d'honneur*. Посторонний человек, объяснил Каверин, им нужен, чтобы отвести глаза публике...

Здесь был Грибоедов – одетый строго, в строгих очках и с таким холодным, даже надменным выражением лица, какое бывает, когда лицо делают принадлежностью парадного костюма. Он уже кое-что написал для театра, был близок к «Беседе», к Шаховскому и с Пушкиным лишь издали раскланивался.

Здесь был Завадовский – тоже служивший в Иностранной коллегии, – фатоватый камер-юнкер с задорно взбитым хохолком и косыми бачками.

Здесь был Васенька Шереметев, двадцатилетний кавалергард, рослый, как и все кавалергарды, в ослепительно ярком мундире, который и каждого сделал бы красавцем, с ямочками на пухлых щеках и беспечной улыбкой мальчика-шалуна. А рядом с ним – его друг Якубович, еще более решительный, чем обычно.

История, приведшая к дуэли, заключалась в том, что балериной, которую содержал Шереметев, прельстился Завадовский, – поэтому они стрелялись. Но каким-то образом в дело был замешан Грибоедов – и поэтому Якубович, как друг Шереметева, стрелялся с Грибоедовым.

Молодые люди беседовали светски любезно, стоя в самых непринужденных позах, но Якубович держался строже всех – дуэль была его профессией.

– К делу, господа, к делу, – повторял он.

– Васенька, в общем-то, я вовсе и не думал тебя обидеть, – сказал Завадовский. Видимо, он искал примирения со своим приятелем.

– Я вовсе и не обижен, – дружески улыбаясь, сказал Шереметев. – Но, понимаешь, так уж получилось, что я дал клятву: дуэль будет смертельной...

– Это другое дело, – рассудительно сказал Завадовский.

– Но, господа, к делу, к делу, – нетерпеливо повторял Якубович.

Итак, решили, что дуэль должна быть смертельной. Но если один должен умереть, почему бы не драться, взявшись за концы платка? Но драться дома – значит дать хозяину преимущество. Нет, драться нужно на Волковом поле, барьер в двенадцати шагах, вспышка не в счет, равно и осечка, и раненый, если сохранит силы, может стрелять лежа...

Закончив дело, молодые люди разошлись.

После спектакля Шереметев и Якубович поехали кутить, а Пушкин и Каверин отправились к Завадовскому играть в карты в собственный его особняк на Большой Морской.

V

Собралось человек восемь – гвардейские офицеры и статские из Иностранной коллегии. Была глухая ночь. Часы в футляре красного дерева устало покачивали маятником, провозжая время.

Выпито было много. На полу, на ковре валялись осколки хрусталя и разорванные колоды, а на столе, на зеленом сукне, вперемежку разбросаны были мелки, щеточки, карты, деньги...

Что сравнится с усталостью игрока, узнавшего измену фортуны, превратности счастья, побывавшего то у вершины успеха, то на дне пропасти! Его стойкость прошла испытания, жизненная философия – проверку... Теперь сидели в свободных позах, откинувшись к спинкам стульев, вытянув ноги, расстегнув сюртуки и крючки мундиров; кто-то дремал, приткнувшись в углу дивана.

Пушкин поднял бокал, грани хрусталя вспыхнули. В густом вине плавал светлый зайчик – отблеск свечи...

– Вы знаете случай с Пассеком? – Пушкин оглядел приятелей. Убедившись, что его слушают, он продолжал: – Вот уж истинно сверхъестественный случай! – Он осушил бокал, волна тепла разлилась по телу. – Всю ночь Пассек понтировал, проиграл не то сто, не то двести тысяч, даже больше... А потом... – Кивком головы Пушкин указал на того, кто дремал на диване. – Прилег, уснул, и явился ему старик с седой головой: «Вставай, Пассек, рутируй на десятку – . один, два, три раза...» Он проснулся и думает: испытаю судьбу, отыграюсь – или продам деревню! Ставит на десятку – выиграл! Ставит еще раз – выиграл! Третий раз ставит – опять выиграл... – Глаза Пушкина широко раскрылись и поблескивали белками. – Что же это, братцы! – Он полон был неподдельного изумления. – Значит – судьба?.. – И так взволновался, что опять наполнил бокал.

– А вот... – сказал капитан-преображенец и далеко вытянул перед собой ноги, так что уже почти и не сидел, а лежал на стуле. – Вот уж действительно – судьба! – И он рассказал о некоем князе Н., который в одну ночь проиграл деревню, коляску, кучера, хотел застрелиться – и вдруг, в наитии, поставил две карты втемную, выиграл, опять втемную, да еще каждую загнул мирандомом, вернул лошадей, кучера, деревню да двадцать тысяч положил в карман...

Рассказано было много историй.

И в особняке, в большой гостиной, обтянутой гобеленами Буше, с золоченой мебелью времен Людовика XV, с мраморным камином в помпеевском стиле, с картинами в тяжелых рамах на стенах, молодые люди явно почувствовали игру таинственных сил – тех магических сил, того скрытого гальванизма, которые определяют судьбу и удачу каждого. Разом осушили бокалы.

– Итак, каждый тянет свой жребий, – сказал хозяин дома Завадовский. – Значит, не о чем заботиться, разве что о собственном благе...

Его обычная фатоватость и обычный цинизм вызвали у Пушкина протест.

Одет он был на английский манер – в узкий фрак английского покроя и коричневые панталоны в обтяжку, с перстнями на руках и драгоценной булавкой на брыжах манишки.

– Что ты хочешь сказать? – спросил Пушкин. Завадовский пожал плечами.

– Поскольку в мире нет абсолютного добра и абсолютного зла, – сказал он ровным голосом, – поскольку нет врожденных нравственных принципов – каждому остается делать то, что ему хочется...

Вот как превратно понимал он Вольтера!

Le plaisir est l'objet, le devoir et le but

De tous les etres raisonnables¹¹, – да, это так, но не ведет ли это к себялюбию, эгоизму и цинизму? А любовь, а дружба, а высокие помыслы!..

– Дэвид, – сказал Завадовский слуге, – принесите еще вина...

– Да, сэр.

Англичанин-слуга – его туго накрахмаленные воротники упирались в густые баки – двигался бесшумно. Завадовский был англоманом, он воспитывался в Англии.

Гости пили рейнвейнское и цимлянское, но хозяин только cold-without – холодный грог из зеленоватого графина.

Разгорелся спор.

– Так можно бог знает до чего дойти! – кричал Пушкин. – Вот и будем повторять: мух съедают пауки, пауков – ласточки, ласточек – орлы, орлов убивают люди. Ну, а людей съедают черви... Вот и вся низменная философия! Она лишает жизнь высокого, прекрасного, разумного...

– У нас, господа, в России нет общественной жизни, – сказал кто-то. – Отсюда все эти разочарованность и уныние...

– И не может быть общественной жизни, – все тем же ровным голосом, с бесстрастным выражением лица сказал Завадовский. – Россия не Европа. Зачем же *dormir de la tete contre un mur*¹².

Косые баки придавали его удлинённому, тонкогубому лицу выражение ранней зрелости – этот преуспевающий чиновник Иностранной коллегии казался старше своих двадцати трех лет.

– ...И остается по примеру отцов и дедов – сушить хрусталь (что значило – играть в карты).

– Да, уж наши предки не ленились попотеть на листе, – живо подхватил Каверин. – Царь Фараон велел метать банк от зари до зари – мой отец свято выполнял завет. – На его лице написано было совершенное благодушие. – И что же? Император Павел пожаловал в Тамбовской губернии имение – с оброчной мельницей, пустошами, да еще с нарезками из казенных земель. Да в Москве подарено было строение Монетного двора и остатки стены Белого города. Да в Охотном ряду были дома. Да подмосковные имения. Да за моей матерью взято больше тысячи душ... Увы, все это – фьють!..

С дивана поднялся молодой семеновский офицер. Волосы у него были растрепаны, сонное лицо помято, а высокий лоб прорезала глубокая складка.

– Позволь мне назначить карту, – осипшим со сна голосом обратился он к банкомету Завадовскому.

И, подняв с ковра случайную карту, лежавшую цветным крепом вверх, положил ее, не глядя, на зеленое сукно.

– Втемную. Фоска стоит тысячу.

Что? Не вздумал ли он допросить судьбу?

Офицер старался держаться прямо, как и полагается всякому семеновскому офицеру, но видно было, что он пьян. Карта стоит тысячу! Не приснился ли ему вещий сон?

Угасший интерес к игре снова ожил. Выпили, разбив бокалы о шпоры:

– A la hussard!..¹³

Завадовский с треском вскрыл колоду, длинные его пальцы двигались легко, ловко, он метал, держа колоду низко над столом, и прикрывал свои карты. Этот роскошный особняк на

¹¹ Удовольствие – предмет стремлений, долг и цель всех разумных существ (франц.)

¹² Биться головой о стену (франц.)

¹³ По-гусарски (франц.)

углу Большой Морской, доставшийся ему в наследство, вместе с титулом графа от отца, он превратил в настоящий игорный дом – здесь собирались каждую ночь.

Увы, карта семеновского офицера после второго абцуга была бита – не судьба!

– Позволь еще одну... – Он заметно побледнел, складка между бровей стала еще глубже. Тылом кисти он провел по лбу. – Фоска – две тысячи...

Теперь в комнате установилась тишина.

Даже карты у Завадовского были английские – дамы в амазонках скакали на породистых рысаках, валеты в рыцарских доспехах охраняли трон, а на тузах изображены были государственные гербы.

– Ах, черт возьми! – вскричал кто-то. Карта семеновского офицера была бита.

– Да, фортуна не просто схватить за тупей, – слышались рассуждения. – Да уж, судьба-индейка... Однако не бивши – не убьешь...

Семеновский офицер сидел на диване, обхватив голову руками.

– Боже мой, – сказал он, – на что тратим мы лучшие годы жизни, ум и сердце!.. На пьянство и карты... А что наша служба! Парады, муштра, чтение артикулов.

Завадовский продолжал тасовать колоду, как бы приглашая желающих к столу. На тонких его губах появилась усмешка.

– Если ты недоволен, – сказал он, – иди в общество к умным. – Он говорил о том обществе, о котором с некоторых пор все шептались. – Там тоже всем недовольны. Там полагают, что на балах танцевать – это пошло, а нужно с дамами говорить об Адаме Смите. И играть в карты и кутить – значит в самом деле бесцельно тратить жизнь...

И так как никто ничего точно не знал о тайном обществе, слышались фразы:

– Это и само собой...

– Ну, знаете, как рассуждать...

– Господа, все это от масонов, поверьте мне!

– Но как же так! – Семеновский офицер опять тылом руки потер лоб. – Ведь возвращались мы из великого освободительного похода с великими замыслами. Мы готовились делать в России что-то нужное, важное... А что же мы делаем? Как мы живем?

– Вот и умные так рассуждают, – насмешливо подтвердил Завадовский.

Кто-то сказал:

– Хорошо бы и нам конституцию!

– Конституцию для медведей?

– Ну, применительно к нашим обычаям...

– Эх! – Семеновский офицер с усталой безнадежностью махнул рукой. Он залпом опорожнил большой бокал – и как будто яд растекся по его телу: углы рта затрепетали, кадык заходил, мышцы шеи задергались. Пустым взглядом посмотрел он перед собой и сказал вполголоса, будто для самого себя: – Застрелюсь...

Жестокое выражение вдруг мелькнуло в лице Завадовского.

– Дэвид, – сказал он. – В моем кабинете ящик с пистолетами.

Сделалось совсем тихо. Семеновский офицер медленно поднялся, толчками, будто с трудом, выпрямляя свое тело.

– Ты что же, хочешь, чтобы я здесь? – Он криво усмехнулся.

Кто-то протестующе закричал:

– Господа, это ни на что не похоже!

В тишине слышны были неторопливые шаги слуги, и еще кто-то воскликнул:

– Перестаньте, господа!..

Завадовский рассмеялся – смех его сухо рассыпался, как горох.

Семеновский офицер, натужно вымеривая шаги, будто на учебном плацу, пересек гостиную и вышел.

– Господа, он все же прав, – сказал кто-то. – Живем мы пусто, скучно, безобразно... Служба в самом деле бессмысленна и оскорбительна... Артикулы и устав, устав и артикулы...

– В Англии – я всегда приверженец свободных установлений, – сказал Завадовский. – Но мы в России. – Он пренебрежительно махнул рукой. – Il faut hurler avec les loups¹⁴. Сам император Александр признается: не верю никому, верю лишь, что все люди подлецы...

Теперь Пушкин возражал с ожесточением – будто утверждения Завадовского угрожали оптимизму и жизнерадостности, жившим в его душе.

– В Англии аристократия могущественна, – продолжал Завадовский, – там майораты неделимы, неотчуждаемы – там аристократия не зависима от королевской власти.

Чем больше Завадовский хвалил Англию – английские порядки, товары, таможеню, даже салон герцогини Девоншарской – тем больший испытывал Пушкин протест.

– Все – Англия, Англия!..

Он пил бокал за бокалом – и в какой-то момент стены будто мягко раздались, хрустальные подвески люстр завертелись с легким звоном, и огни бронзовых канделябров на мраморных подзеркальниках слились в расцвеченный огненный шар... И все стало на место.

– Когда в английском парламенте слушаешь прения между тори и вигами, – рассказывал Завадовский, – совершенно понимаешь, что Россия принадлежит Азии, а не Европе...

– Россия тоже ничем не обделена! – воскликнул Пушкин. – Россия идет путем Европы к свободе и гражданственности!..

И с досадой бросил свой бокал на пол.

– Ну, хорошо, – сказал Каверин. Он поднялся и с такой силой расправил плечи, что узкий гусарский мундир затрещал по швам. – Это – английская? – Он указал на трость с резным костяным набалдашником у подставки для чубуков.

– Я купил ее в магазине на Бейкер-стрит...

– А мне она не нравится!..

И в ту же минуту Каверин схватил трость, сломал пополам о колено и бросил в камин.

Пламя осветило энергичное, красивое лицо гусара с лихо закрученными усами, тонким профилем и крепким подбородком.

Выходки Каверина, *le coqueluche de tout le monde*¹⁵, этого милого Пьера, всем были известны. Но что сделает Завадовский?

Лицо Завадовского сохранило ледяное бесстрашие. Он продолжал рассуждать об Англии и России.

Пушкин с раздражением думал о том, что безродные люди, которых Екатерина по своей прихоти вывела на первые места в государстве, не могут ценить Россию.

Портрет старшего Завадовского – вельможи в парике с завитыми локонами, графа, действительного тайного советника, сенатора – висел в золоченой раме на стене. На круглой тумбе под портретом стоял мраморный бюст Екатерины Второй – молодой еще женщины, с ямочками на пухлых щеках, с раздвоенным подбородком... Безродный мелкий офицер из канцелярии Румянцева – Задунайского достиг почестей и богатства – не умом, не талантом, не верной службой! – все выиграл он в гнусном соревновании, сделавшись фаворитом.

– В России умному человеку нельзя не быть циником! – уверял Завадовский.

Его отец обобрал ассигнационный банк, которым ведал. Вот в угоду кому сластолюбивая властительница унизила истинное, древнее дворянство. Пушкин готов был вслед за своим отцом составлять генеалогические древа дворянских родов!..

¹⁴ С волками жить – по-волчьи выть (франц.)

¹⁵ Всеобщего любимца (франц.)

Он продолжал много пить, и опять со звоном завертелись подвески люстр и огни свечей слились в цветной шар... Он спорил все ожесточеннее, вот он уже перешел на личность, и Каверин счел нужным переговорить с Завадовским, отвел в сторону Пушкина, чтобы и с ним переговорить, и объявил, что дело пустячное и не требует продолжения...

Потом стреляли из пистолетов, комната наполнилась пороховым дымом. Пистолеты были английские, из закаленной стали, и даже на шомполах стояло английское клеймо... В длинном каменном манеже водили на кордах лошадей ганноверской породы, с гривами и хвостами до земли... Потом запрягли кареты и с громом колес, с цоканьем копыт помчались по Невскому, пугая квартальных и развлекаясь: вывеску аптекаря Штюнера поменяли местами с вывеской гробовщика Петрова, а вывеску кондитера Лареда – с вывеской шляпной мастерицы вдовы Повитухиной...

Под утро его подвезли к набережной Фонтанки. Двухэтажный дом Клокачева с массивным рустованным цоколем выделялся среди соседних ветхих строений; к подвальным его окнам на случай наводнения приставлены были просмоленные щиты...

Слуги спали. Но верный Никита ждал с зажженной свечой и помог барину раздеться. Усталость одолевала... Он повалился на постель и сразу уснул.

VI

С надеждой, верою веселой
Иди на все, не унывай;
Вперед! мечом и грудью смелой
Свой путь на полночь пробивай.
Узнай, Руслан: твой оскорбитель
Волшебник страшный Черномор,
Красавиц давний похититель,
Полнощных обладатель гор.

«Руслан и Людмила»

Который час?.. За стеной, в комнате сестры, слышалась игра на фортепьяно.

Каждое утро, лежа в постели, он писал. Поэма, начатая в Лицее, успешно продвигалась вперед – витязь искал прекрасную Людмилу; одна сцена влекла за собой другую...

Даже друзья-поэты не подозревали о громадной задаче, которую он ставил перед собой: он мерил свою поэму европейскими образцами...

Там, на страницах европейских поэм, странствовали средневековые рыцари, палладины Карла Великого, влюбленные разлучались и находили друг друга и ради любви претерпевали множество злоключений, в их судьбу вмешивались волшебники, пустынные, завистники, соперники, и звонко звучали имена: Роланд, Руджиеро, Анжелика, Брамантанте... В русской литературе – бедно, лишь недавно возникшей – не было средневековой литературы: он желал дать ей поэму на европейский лад – из глубины веков!..

Пусть и у него странствуют витязи, пусть будут не ведомые русской равнине скалистые горы, пусть волшебник, похититель красавиц, влечет рыцаря по воздуху... Эти сцены не новы – в этом их условность, традиционность, но и надежность, а выдумывать все заново было бы оплошностью и безвкусицей... Знакомые сцены он пишет на русский лад – былинный, сказочный, народный – и покажет в русских богатырях русскую силу, и передаст голос вещего Бонна!.. Важно найти правильный тон – игривый, насмешливый, важно сохранить равновесие между серьезным и забавным, придать рассказу свободное течение, действию – естественность, сценам – разнообразие. И самым важным было достигнуть совершенства стиха – именно это совершенство, певучесть, гармония и делали поэму вполне самостоятельной и неповторимой.

Вжавшись спиной в подушку, ухватив зубами короткий черенок пера, он пристально смотрел перед собой, будто в прямоугольнике окна перед ним разворачивались сцены, а потом торопливо писал...

VII

Вошла сестра. Ее лицо показалось ему похудевшим и вся она – еще уже, тоньше. Она была чем-то встревожена.

– Ты слышал? – спросила она. – Что говорят в городе?..

– О чем? – не понял он. Но она не объяснила.

– Мамап стала раздражительной, – сказала она, – такой, что... даже рара с трудом переносит...

На руках у нее опять была моська, и она уткнулась лицом в мягкую шерсть, может быть, для того, чтобы скрыть слезы.

Он нахмурился. Сестру было жаль, но чем мог он помочь? Как мог защитить ее от родительской власти?..

... В просторном зале, с экраном пред камином и стульями вдоль стен, за круглым столом под свисающей люстрой собралась семья. Каждый занял обычное место.

Сергей Львович заговорил о театре – и сразу же разгорелся спор.

– Русская труппа ничтожна... – утверждал отец.

– А Семенова?.. – возражал сын.

– Вальберхова ли, Семенова ли, – пренебрежительно сказал Сергей Львович, – *aussi ennuyeuse l'une que l'autre*¹⁶.

– У Семеновой – талант, живое чувство!.. – восклицал Пушкин.

Сергей Львович досадливо отмахнулся: коротенький юнец, его отпрыск, желал иметь собственные мнения. Но Сергей Львович был знатоком театра!

– Я помню незабвенную Жорж... – принялся он рассказывать. – Москва, Арбатский театр... Какой энтузиазм, какое фурорное хлопанье!.. – И, не удержавшись, Сергей Львович приподнял руку, в которой зажат был гренок, намазанный медом, и продекламировал нараспев, подражая манере знаменитой актрисы, классические слова Клитемнестры. – Актер выигрывает, – продолжал он, – окружив себя посредственностями... Например, девица Клерон, пользуясь покровительством Ришелье, царствовала на сцене одна. И пьесы обставлялись так, чтобы она могла царствовать: «Дидона», «Ифигения в Тавриде», «Медея» – написаны специально для нее, были ее триумфом. Но, конечно, Дюменель могла бы сыграть не хуже. Но мадам Жорж не имела соперниц!.. Но Вальберхова в «Липецких водах»...

– Липецк? – переспросила Марья Алексеевна. Тяжелая ее голова приподнялась, подслеповатые выцветшие глаза будто ожили. Она была родом из Липецка.

– Мы говорим о театре, мамап, – объяснил Сергей Львович.

– Липецк, – повторила Марья Алексеевна. И из ее глаз легко и обильно покатились крупные слезы. Горничная поправила на ее шее салфетку.

– Что такое? – обеспокоилась Надежда Осиповна.

– *Que faire c'est la vieillesse*¹⁷ – вздохнул Сергей Львович.

– С дочерью малолетней... Без пропитания... – К Марье Алексеевне пришли воспоминания.

– Значит, вы из Липецка, *grand-maman*? – спросил Пушкин, которым владел живой интерес к прошлому своей семьи.

Марья Алексеевна повернула к внуку трясущуюся голову.

¹⁶ В одинаковой мере скучна (франц.)

¹⁷ Старость (франц.)

– ...Вздумал при живой жене жениться... – Это она говорила о тяжбе и разводе с мужем. Она вздохнула, задумалась, а потом сказала: – Но с государыней великой можно было благоденствовать: дураки были не страшны, а плуты не опасны...

Восемнадцатый век вставал за ее плечами!

– Мамап, – страдальчески сказала Надежда Оси – повна. – Все это было давно, нельзя ли о другом?

– Липецк тогда заводом звался... – уже успокоившись и более связно сказала Марья Алексеевна. – Не уездный городок – а просто завод был, пушки лили...

И принялась рассказывать. Никто и не ожидал от престарелой grand-mama такой живости.

– Наше село Покровское, Кореневщина тож, в двадцати двух верстах от Липецка. А тогда из Петербурга артиллерии капитан приехал – заводы осматривать, вот и зачал к нам в Покровское ездить, свататься зачал...

– Неужто мой дедушка! – воскликнул Пушкин.

– Дедушка, Осип Абрамович, он самый, – подтвердила Арина Родионовна, которая по обыкновению стояла посредине комнаты. – А черный был, господи, совсем арап...

Марья Алексеевна выпрямила спину, лицо ее помолодело. И широким добрым своим лицом она поворачивалась то к дочери-креолке, у которой кожа была смуглой, то к внуку, у которого волосы курчавились.

– Видный был, – сказала она. – Красивый был, чего уж там, одно слово – столичный щеголь. – В голосе ее зазвучала даже гордость. – Ну уж, конечно, черный... – Она развела руками. – А я была еще в ребячестве, мало его понимала, вот и пошла за него... И стала сама Ганнибалова. – Так переделывала на русский лад свою фамилию Марья Алексеевна.

Завтрак продолжался – намазывали хлеб, лущили яйца, наливали сливки в чай. А Марья Алексеевна неожиданно разговорилась.

– А человек он оказался характера самого беспокойного. Какой-то огонь в нем был геенский. И почти всегда был пьян, а дом наш превратил в вулкан всяческих происшествий. – Слезы опять потекли из глаз. – Запер меня в конуру рядом с борзыми собаками... Оказывал всяческое презрение. А у меня уже дочь родилась по естеству!

– Мамап, – сказала Надежда Осиповна. – Я молю вас... – Ее детям просто удивительным показалось то беспомощное выражение, которое теперь было на ее властном лице.

– Что старое-то ворошить, – подтвердила Арина со своего места.

Ольга неожиданно вышла из-за стола. С ней творилось что-то странное.

Стук колес проезжающих экипажей заставлял ее вздрагивать.

Взгляд Надежды Осиповны последовал за ней. За столом сделалось тихо. Потом Надежда Осиповна поднялась и, тяжело ступая в туфлях без каблуков, с завязками вокруг отечных ног, подошла к окну.

– Я просто смотрю на улицу, – дернув плечами, сказала Ольга.

– Что ж интересного?.. – Надежда Осиповна подозрительно оглядела пустынную набережную Фонтанки.

– Что, повадился кувшин по воду ходить? – догадалась Арина.

– Дурь нашла, – ответила няне Надежда Осиповна. И Ольга, с самым несчастным выражением на лице, вернулась к столу.

Бурные события происходили в доме. Вдруг, без всякого перехода, принялись обсуждать будущие перемещения в квартире: для младенца с няней нужна светлая, просторная диванная, но из-за тесноты – всего семь комнат – диванную занимала grand-mama; так вот, переместить ее нужно в кабинет Сергея Льво вича; так вот, нужно вынести из кабинета письменный стол и поставить кровать...

Марья Алексеевна слушала эти разговоры равнодушно.

– Имение наше, Михайловское, – снова начала она рассказывать внуку, – по развратной жизни своей муж мой совсем расстроил. Захотел на Устинье Толстой жениться – это при живой-то жене! – Ее и сейчас волновала давняя эта история – подбородок ее задрожал, а углы губ горестно опустились.

– Да, уж Осип Абрамович легкий-прелегкий был и дюжий такой был, господи, – со своего места отозвалась Арина.

– А уж Устинья – сама ветренная, сама взбалмошная, жеманство самое площадное, как и он, распутная, и все бы им только наслаждение физики...

– Наслаждение физики! – Пушкин еще в Лицее, получая письма от бабушки, читал их Дельвигу, и оба они восхищались языком Марьи Алексеевны.

На Марье Алексеевне поверх платья был спенсер – она мерзла. От беспокойных движений кружевной воротничок, кисейный рюш и салфетка смялись, и горничная то и дело поправляла их.

– Кто же станет такое терпеть, – сказала Марья Алексеевна. – Стала и я обходиться с ним очень ярко, квитаться презрением. А потом в дом родительский, в Покровское, вернулась. Я с родителями в глубокой тишине жила, у нас развратной жизни такой не знали... Как увидел мой родитель меня... с малолетней дочерью на руках... без пропитания... так от паралича и скончался.

Опять потекли слезы. Марья Алексеевна обессилела. Сергей Львович уловил выразительный взгляд жены и переменял разговор.

– Никита, – обратился он к своему камердинеру. – Сколько в Москве стоили сальные свечи?..

Степенный Никита Тимофеевич сделал несколько торопливых шагов вперед.

– Что ж, считай, пуд покупали мы за шесть пятьдесят. – Он любил говорить мы и, когда Сергей Львович занимался, говорил: «Мы заняты!»

– А дрова?

– Так что же, считай, за сажень березовых дров – мы платили шесть рублей.

– А бумага?

– За десть бумаги в магазине Жожор – платили пятнадцать копеек...

– Все же в Москве жизнь дешевле была, – решительно заключил Сергей Львович, обращаясь к жене.

А Надежда Осиповна, видимо тоже вспоминая Москву, задумчиво смотрела на портрет, в узорной раме висящий на стене. Вот какой она была! Неужто в самом деле это она?

Когда-то, в Москве, дом Пушкиных посещало множество эмигрантов, среди них – граф Ксавье де Местр, известный впоследствии автор книги «Voyage autour de ma chambre»¹⁸, и его брат написал портрет гостеприимной хозяйки, «прекрасной креолки»... На стене висели и акварели Ольги – сад московской усадьбы, домик в Захарове, портрет умершего шести лет брата...

Воспользовавшись минутным молчанием, Марья Алексеевна, успевшая набраться сил, продолжала:

– И вот, захотел он со мной разойтись, да по форме такое дело не скоро сделаешь, так он вот что придумал: священнику Новоржевского погоста Апросьево фальшивое свидетельство дал, дескать, он вдов. Ну, вижу я, мое положение тесное, попала я в несчастную тарелку, с дочерью без куса хлеба останусь – и поехала хлопотать, свои пружины настраивать... А эта Устинья, – в сердцах опять вспомнила Марья Алексеевна, – эта супротивница моя, вовсе и не хороша была!

¹⁸ «Путешествие вокруг комнаты» (франц.)

– Ага, не хороша, – подтвердила Арина. – Волос красный, лицо в веснушках, голос грубый... Знать, мало считала за собой волокит – вот и польстилась на него, на Осипа Абрамовича.

– А уж Осип Абрамович до того против меня был взволнован, что и видаться не хотел. Да свидетельство-то его подложное – почтовой печати нет, почерк поддельный... Как Консисто-рия принялась за него – так и стал он опять вокруг меня виться ужом и жабою и, двоеженец, набегу делал то туда, то сюда – сожительствовать!..

– Матап! – не своим голосом воскликнула Надежда Осиповна.

Ее сын залился смехом, дочь – покраснела, а Сергей Львович – лицедей – сумел выразить на лице одновременно и тонкую улыбку и конфуз.

Марья Алексеевна смотрела на дочь непонимающими глазами.

– Эта порода нормального представления о женщине иметь не может, – сказала она. – Я в Суйды к самому Абраму Петровичу ездила.

– Ага, ездила, ездила, – подтвердила Арина. – Я, матушка, тогда с вами ездила. Я тогда уже ваша была. Наше-то место прежде там, Суйда прозвище, было. Допрежь того в Суйде мы жили, а уже потом нас перевели в другую вотчину... Уж что было, когда к арапу приехали!..

– Да уж что было, – задумчиво сказала Марья Алексеевна. – Боялась я его, как царя и владыку. Как взглянул на меня Абрам Петрович – так я в обморок и упала...

– Ужасно, когда супруги а couteaux tires¹⁹, – вставил Сергей Львович, бросая осторожный взгляд на Надежду Осиповну.

Воспоминания продолжались бы, но широким решительным шагом в комнату вошла графиня Катерина Марковна Ивелич.

Началось обычное:

– Дорогая, графинюшка... милая кузина... с нами чаю...

И Пушкин начал обычное:

– Наконец-то я вижу вас, пти-кузина...

В руках у Ивелич был все тот же вышитый мешочек, в котором она носила прессованный кнастер, а на голове – та же шляпка, похожая на воинскую каску.

Она даже не взглянула на Пушкина.

– Вы слышали? – спросила она.

– Что? – Ольга так резко поднялась и так побледнела, что взгляды всех невольно устремились на нее.

– Нет, нет, это совсем другое, – успокоила ее Ивелич. Ольга села. – Весь город знает – сегодня на дуэли убит кавалергард Шереметев. Весь город-Пушкин выскочил из-за стола и бросился к двери.

– Не сын ли это Татьяны Петровны, урожденной Обросимовой? – услышал он голос отца.

¹⁹ На ножах (франц.)

VIII

Перед приземистым домом с потемневшими наличниками и жестяным флюгером, на окраинной улице, уводящей к Козьему болоту, собралась возбужденная толпа молодых людей. Подробности передавались из уст в уста – и подробности были ужасны. Васенька Шереметев ползал по земле, извивался, умирая... И все поглядывали на низкое крыльцо с навесом, на дощатый забор вокруг сада, на поскрипывающий флюгер, на оконца во втором, бревенчатом этаже – в этом доме жила балерина, из-за которой стрелялся Васенька Шереметев.

Хлопьями падал снег. Бородатый дворник с бляхой поверх передника, с метлой в руке, стоял у подворотни, ожидая привычных затей: то ли пьяного кутежа, то ли стрельбы, то ли скачек на тройках с бубенчиками...

Подшли двое конногвардейцев в киверах с волосяными султанами и в сапогах, позвякивающих шпорами, – к ним тотчас бросились: что они знают?

Снег все падал, он прибрал и украсил захудалую улицу с ее неровной булыжной мостовой и тумбами у ворот. Это была все та же старая Коломна, и здесь – на Торговых, Грязных, Мясных – г в домах купцов и мещан снимали квартиры или ютились по углам артисты, машинисты сцены, гардеробмастеры, костюмеры, музыканты и репетиторы.

Выбежали из ворот собаки и сцепились в драке. Вышли бабы и, уперев руки в бока, принялись переругиваться...

По тротуару прошла молочница с жестяными бидонами на коромыслах, отставной солдат, торгующий щетками и плетешками, купчиха с насурьмленными бровями, лузгающая на ходу семечки, разносчик с лотком, мещанин в долгополом кафтане...

Толпа все росла. Теперь каждый повторял слова, брошенные Кавериним умирающему своему приятелю Шереметеву: «Вот тебе, Васенька, и репка!» В самом деле, сегодня ты живешь, а завтра – вот тебе, Васенька, и репка! Что же наша жизнь, что наше счастье, что наши планы! Вот времена – все рушится, все меняется... Рассказывали, что Якубович, подбрав пулю, поразившую Васеньку, сказал Грибоедову: «А это – для тебя!»...

Приоткрылась дверь, и вышла она. Эта танцовщица кордебалета была мало кому известна; но теперь ее имя повторяли – Истомина. А она, ожидая карету, остановилась на крыльце.

Под взглядами лицо ее напряглось, на нем появилось выражение строгости – то выражение, которое у красивых женщин сопровождает волнение успеха... И она позировала.

Вот из-за поворота выкатилась длинная и высокая фура – театральный гроб, Ноев ковчег – в которой мелкие актрисы, фигурантки из кордебалета в тесноте жали масло. Теперь ей не долго оставалось жать масло: под аплодисменты молодых людей и завистливые взгляды подруг, сидящих в карете, она сошла с крыльца.

На ней была плюшевая пелерина, обшитая мехом, и шляпка, отделанная лентами и перьями... Хотя шляпка была высокой и перья на ней высокие, все же сразу и очень точно ощутилась ее фигура – она была среднего роста, стройная, с сильными, проворными движениями...

Она не улыбалась, не оглядывалась. Но по лицу ее заметно разлился румянец самолюбия. И лихорадочные, черные, не имеющие дна, осененные густыми ресницами глаза балерины вдруг встретились с широко раскрытыми голубыми глазами Пушкина...

Карета покатила, а он еще долго смотрел ей вслед.

А потом направился к пансиону Педагогического института. Когда брат вырастет, он передаст ему, верному наперснику, свой опыт. Сам он, с тех пор как вышел из Лицея, уже много испытал и узнал... И он посоветует брату вступить в военную службу: это обеспечит ему твердое положение в обществе. Увы, его собственное намерение пока не сбылось! Конечно,

гвардия – стоит денег, и даже Каверин из-за безденежья покидает гвардию... Но отец все же не сделал всего, что мог бы, и скупость отца вызвала протест и раздражение...

Легко и быстро двигался он по улицам, пересек Калининскую площадь с каланчой и съезжей, потом мост через Фонтанку. Вот и пансион.

Недавним лицейским прошлым дохнуло на него в уединившемся среди обширного сада особняке с нарядными колоннами и барельефами. В просторном, окрашенном в бледно-лимонный цвет вестибюле было пусто.

Но прозвенел звонок, и галдящая толпа хлынула по закругленной лестнице.

– Bonjour, mon petit²⁰.

И Пушкин расцеловал брата – низкорослого, курчавого двенадцатилетнего мальчика.

– Ну, как успехи?

Выражение лица у Лельки было капризным. Он хотел домой. Неужели наукам нельзя обучаться дома?

– Нельзя! – возразил старший брат. Роль наставника увлекала его. Но и в самом деле: домашнее воспитание недостаточно, разве можно дома получить понятия о равенстве, о долге, о гражданственности – дома, где со всех сторон видишь примеры холопства?

Лелька принялся болтать. Их преподаватель французского языка, господин Трике, на самом деле не преподаватель, а мелкий торговец... Их преподаватель английского языка, господин Биттон – дядьки называют его «господин мусье мистер Бидон», бывший шкипер, и, когда он ставит на колени, он кричит: «Посади на ваши колени!» – и дерется! Их преподаватель немецкого языка, господин Гек, носит рыжий парик. А подинспектор Калмаков – рябой, лысый – всегда говорит одну и ту же фразу: «А сие тем более...» Недавно в конторке у Лельки нашли стишки, за это лишили обеда и ставили на колени...

Подошли приятели Лельки – румяный, с прядкой на лбу Миша Глинка и стройный, с взрослыми чертами лица и с открытым взглядом Сережа Соболевский.

– Пойдемте к нам, мы сочинили песенку!

И ученики пансиона повели гостя наверх, в мезонин. Здесь было по-казенному однообразно, чисто, – белые покрывала на кроватях, белые салфетки на тумбочках; в углу стоял рояль Тишнера. Миша Глинка, музыкант, аккомпанировал. Песенка была о подинспекторе Калмакове:

Подинспектор Калмаков Умножает дураков.

Мальчики кривлялись, изображая кривляния под-инспектора.

Он глазами все моргает И жилет свой поправляет...

С силой открылась дверь, и стремительно вошел длиннотелый, костлявый гувернер – сам недавний выпускник Лицея – Вильгельм Кюхельбекер.

– Мальчики, идите гулять. Spazieren, spazieren! – И, радостно пожав руку Пушкину, повлек его за занавеску, где сам жил. – Как бедна наша словесность! – заговорил он сразу же с жаром, будто с трудом дождался этого момента. – Как пусты журналы! У нас вовсе нет критики... Да, да, мы в плену у Лагарпа, в плену стеснительных французских правил. – И принялся расхаживать взад и вперед, клоня голову на тонкой шее.

Он был все такой же – кипучий, настороженный, восторженный, обидчивый. Эрудиция его была необъятной – он дни и ночи проводил за книгами. Он преподавал русский язык, латынь, немецкий, исполнял обязанности гувернера, служил в Иностранной коллегии, служил в архиве, был плодовитым поэтом и автором критических разборов...

Обсудили его статью в «Вестнике Европы», потом новое стихотворение и новую статью для «Сына отечества». Потом настала очередь Пушкина.

Пушкин прочитал строки, недавно написанные:

²⁰ Здравствуй, малыш! (франц.)

Узнай, Руслан: твой оскорбитель
Волшебник страшный Черномор,
Красавиц давний похититель,
Полнощных обладатель гор.

И еще:

Он звезды сводит с небосклона,
Он свистнет – задрожит луна;
Но против времени закона
Его наука не сильна.

И еще:

...Прости мне дерзостный вопрос.
Откройся: кто ты, благодатный,
Судьбы наперсник непонятный?
В пустыню кто тебя занес?

Кюхельбекер заметался по комнате; он подавал какие-то знаки – то ли умоляя продолжать, то ли умоляя замолчать, лицо его побледнело, глаза беспокойно бегали.

– Да-а, это хо-орошо, – проговорил он, растягивая слова от волнения. – Лучше всего прежнего... Но почему, почему, – закричал он неожиданно почти с бешенством, – почему со времен Ломоносова мы пишем одним ямбом!

– Ну, прости, – возразил Пушкин, – между торжественным ломоносовским ямбом и ямбом шутильной поэмы – дьявольская разница.

– Ямб вовсе чужд русскому стихосложению, – кричал Кюхельбекер. – Почему ты не пишешь русским стихом?

– Что? Стихом, которым Львов писал «Добры – ню», Карамзин – «Илью Муромца», Радищев – «Бо-ву»? Но этот стих вовсе не подходит для шутильной поэмы!

– Хорошо – шутильная поэма. Но великие задачи требуют другого. Нужна ода. Нужен могучий, звучный язык. Я читаю Ширинского-Шихматова. Вот нам образец. – И Кюхельбекер нараспев прочитал:

Вели – да скопище мятежно Идущих в буйстве к сим стенам, Вотще на дерзкого надежно,
Главы свои поклонит нам. «Кляни!» – рыкают гордым гласом...

– «Рыкают», – с издевкой повторил Пушкин. – И ты хвалишь врага «Арзамаса», безвкусного, напыщенного Шихматова...

– А ты не понимаешь, что архаический язык нам нужен. Шихматов велик, он истинный поэт!..

– Ты Шихматова ставишь мне образцом?

– А ты хочешь быть великаном среди пигмеев?..

Пример поединка Шереметева и Завадовского, видимо, волновал поэтов. И вот уже они стоят друг против друга с искаженными от ярости лицами. И слышится:

– Я вызываю...

– Нет, это я вызываю!..

– Секунданты... Сейчас же... Сегодня... Завтра!.. Пушкин в ярости бросился по лестнице вниз, на улицу. Довольно ему терпеть зависть этого Кюхельбекера, этого калеки, которого судьба послала ему в друзья! Пушчин – вот кто будет его секундантом.

IX

Волково кладбище было обычным местом дуэлей. Четверо недавних выпускников Лицея гуськом плелись вдоль кладбищенской ограды.

– Долго еще? – недовольно сказал Корф. Под казенной шинелью он нес ящик с дуэльными пистолетами. – Балаган какой-то! – Он клял себя за то, что согласился на роль секунданта Кюхельбекера.

– En-avant, вперед! – командовал Пущин.

За оградой виднелись часовенки, надгробья, кресты. Вороны с карканьем кружились в воздухе. Свернули направо, где кладбище смыкалось с полем. Ноги проваливались в снежной целине.

– Балаган какой-то... – недовольно бормотал Корф. Когда он злился, лицо его неожиданно грубело.

– En-avant! – Жизнерадостный Жанно, как и некогда в Лицее, всеми руководил.

Кюхельбекер оглянулся на оставленную позади, у дороги, карету. Неужели он и впрямь думал, что кого-нибудь отсюда увезут раненым или мертвым?

– Посмотрите, – указал Пушкин на вырытый среди поля котлован. – Могила для Кюхеля готова...

Эта шутка, конечно же неуместная, сразу привела Кюхельбекера в ярость! Он тяжело задышал, принялся кусать губы, даже заскрипел зубами.

– Долго еще топтаться в снегу? – нетерпеливо вскричал Корф.

– Снег похож на саван, не правда ли, Вилли? – снова пошутил Пушкин.

И в выпуклых глазах Кюхельбекера вспыхнуло бешенство.

Впереди тянулся лесок, а перед ним виднелись деревенские риги. Кладбищенская ограда окончилась. Не здесь ли стрелялись Завадовский и Шереметев?

– Прекрасное место, – сказал Пущин.

Они стояли перед ямой, вырытой для склепа.

Но когда Пущин и Корф на дне обширной ямы принялись отмеривать площадку, Кюхельбекер остановил их.

– Не так-таки, – сказал он хриплым голосом. Они не соблюдали правил, а он знал наизусть французский дуэльный кодекс...

Чем мрачнее держался Кюхельбекер, тем больше веселился Пушкин. И Путина подмывало ня тпутки. Но Корф считал нужным держаться строго.

– Если здесь балаган – мне нечего делать, – повторял он.

Стены ямы до середины были покрыты диким камнем, в стороне валялись гипсовые плачущие гении.

Секунданты осмотрели кремни и принялись сыпать на полку порох.

– Не так-таки! – опять остановил их Кюхельбекер. – Порох полагалось сначала отмерить.

– Вилли ни за что не попадет, – сказал Пушкин. – Будет целиться в меня, а попадет...

– В секунданта...

– В ворону...

– Я стану за камень.

– Перестаньте! – взвизгнул Кюхельбекер. Пушкин выстрелил в воздух.

– Стреляйте!..

– Он попадет в себя!..

– Мы его здесь похороним...

– Бегите!..

– Сходитесь!..

– Спасайтесь от Бекелькюхера!.. Это походило на лицейские проказы.

Челюсть у Кюхельбекера тряслась. Он неестественно вскинул голову. Прогремел выстрел – и пуля унесла с собой гнев доброго Вильгельма. Зарыдав, он бросился к Пушкину – душить его в объятиях.

...Потом приятели сидели в ресторации – первой попавшейся при въезде в город – и праздновали примирение. Кюхельбекер, сразу опьянев от вина, громко исповедовался:

– Я знал, на него не поднимется рука!.. Но я сам хотел умереть... – Он через стол тянулся к Пушкину, чтобы снова обнять его.

Но уже забыли о дуэли, говорили о Лицее, о лицеистах. Кто где? Где Малиновский? Малиновский в Финляндском полку. Где Матюшкин? Матюшкин на шлюпе «Камчатка» путешествует вокруг света. Где Дельвиг? Дельвиг на Украине у своего отца, генерал-майора... А Горчаков готовится уехать за границу. А Брольо? Уехал во Францию!.. Боже мой, неужели Брольо навсегда уехал, неужели не удастся больше свидеться с Брольо!..

Но Кюхельбекер все мучился и клял себя.

– Des Geschehene kann man nicht ungeschehen machen²¹, – так говорил мне наш дорогой директор Егор Антонович... Он говорил; Вильгельм, в твоей голове – *dummer Streiche!*²² – Кюхельбекер кулаком ударил себя по голове. – Да, да, *dummer Streiche!*

Лицейское братство уже понесло потерю. Умер Ржевский – вступил в армию, в Изюмский гусарский полк, и скончался от гнилой горячки, Ржевский немыслимый тупица, которого Илличевский рисовал всегда с ослиной головой... Кстати, а где Олесенька Илличевский? Он в Сибири, в Томске, у своего отца, генерал-губернатора. А Бакунин? Он в гвардейском Семеновском полку. А Данзас? Он поступил в Инженерный корпус...

Кюхельбекер, простерев руку над столом, декламировал элегию:

Брат души моей! Затерян в толпе равнодушной, Твой Вильгельм одинок в мутной столице сует...

Корф, потеряв терпение, подхватил его под руку и повлек к двери.

– Каждый день прикасайтесь к Гомеру! – кричал Кюхельбекер. – Гомер при жизни страдал! – Он гово-

рил о Гомере или о себе? – Теперь семь городов оспаривают честь быть его родиной...

Вслед за ними отправились и Пушкин с Пуциным.

– Ты знаешь меня, – убеждал Пушкин; по установившейся привычке он говорил с Пуциным, как младший со старшим. – И можешь снисходительно отнестись к моим промахам... Ты знаешь, как я мыслю!..

Он испытывал радостное волнение. Потому что настал момент, которого он уже давно ожидал. Сейчас сбудется его мечта! Потому что конечно же, если его первый друг, его Жанно, вступил в общество, он и его поведет вслед за собой... Иначе быть не могло!.. Вот так же, как сейчас, они когда-то, рука об руку, бродили по аллеям царскосельских парков...

Но Пуцин ответил уклончиво. Собственно, о каком обществе идет речь?

Сказывалась долгая разлука. Последние месяцы они редко виделись – и теперь будто что-то легло между ними. На Пуцине был новенький, с иголки, мундир гвардейского конно-артиллерийского полка – чикчиры с широкими, яркими лампасами, сапоги со шпорами.

Зачем Жанно делает непроницаемое лицо? Уж от него-то, Пушкина, он все равно ничего не скроет...

Когда они расставались, Пушкин испытал боль. Боже мой, его не хотели понять! Даже первый друг не хотел понять вполне. Впрочем, они условились вскоре опять увидеться.

²¹ То, что свершилось, не сделаете не совершившимся (нем.)

²² Глупые выходки (нем.)

Х

И через несколько дней он подошел к старинному, массивному зданию, принадлежащему знаменитому адмиралу, деду Пушкина.

– Как же-с, дома, занимаются в кабинете-с... – приветливо встретил его дядька Алексей – чем-то очень похожий на дядьку Никиту: такой же неторопливый, внешне сумрачный, и в таких же рубаше и портах. Пушкина он знал с лицейской поры.

Дядька повел гостя по пустым, будто не жилым, апартаментам, к той комнате, которая прежде служила Пушкину детской, а теперь превращена была в кабинет прапорщика-конно-гвардейца.

У обоих друзей губы неодолимо расплзлись в улыбку, когда они увидели друг друга. Пушкин еще сидел за письменным столом, Пушкин еще стоял у порога, а какая-то искра пронеслась от одного к другому – и что-то, понятное только им одним, сомкнулось...

...Как вообще могло случиться, что их дороги не полностью совпали?.. Пушкин был частым гостем в «Священной артели», а Пушкину ученые рассуждения и строгие правила казались докучными... Пушкин в гвардейском образцовом батальоне учился фрунту, сдавал экзамены и вот произведен в прапорщики конно-артиллерийского полка, а Пушкин летом ездил со всей семьей в деревню, служил в Иностранной коллегии, и в Петербурге они почти не виделись...

И они сразу же принялись вспоминать прощание в Лицее: Пушкин уезжал из Царского Села – помнишь? – Пушкин, больной, оставался на попечении доктора Петеля – помнишь? – Пушкин пришел навестить друга, а стихи, помнишь?

Вот здесь лежит больной студент; Его судьба неумолима. Несите прочь медикамент: Болезнь любви неизлечима!..

Потом Пушкин сидел в удобном глубоком кресле, а Пушкин, расхаживая по комнате, по ворсистому ковру, поглядывал на своего друга – тот выглядел удивительно утонченным, удивительно аристократичным и изящным – весь, от странно изменчивого лица, до узкого носка туфли... Пушкин восхищался своим другом. Какое великолепное существо! Полнота ощущений была в каждом его жесте, в блеске голубых глаз с выпуклыми белками, в трепете ноздрей, в движениях припухших губ. Удивительное существо!.. Его веселье, его беззаботность – Пушкин знал – лишь первый пласт, а за ним сколько еще пластов: грусть, страсть, – и новый пласт, склонность к размышлению, умение воспарить над всем земным, умение взглянуть на все со стороны, – и новые пласты: он был наполнен, набит, нафарширован от пят до головы поэзией.

Пушкин заговорил о том, ради чего пришел.

– Можно ли так вести себя, быть таким скрытным? – упрекнул он. – Это, милый друг, никуда не годится!..

Пушкин потер лоб рукой. Дружба побеждала.

– Давай-ка почитаем Плутарха, – предложил он. Чтение древних – Плутарха, Ливия, Цицерона,

Тацита – с некоторых пор сделалось обязательным у тех, кто почитал себя передовыми людьми.

На старинном письменном столе, на зеленом сукне, аккуратно разложены были стопки листов, стопки книг... Каждая вещь на столе Пушкина имела свое место – как когда-то на лицейской конторке.

Пушкин принялся читать Плутарха во французском переводе. Голос его задрожал, когда он дошел до знаменитого места о Бруте:

– «...день настал! Брут опоясался кинжалом и вышел из дома... И все пошли в портик Помпея. Они ждали, что Цезарь появится с минуты на минуту...»

Он был все такой же, этот милый Жанно, – крепкий, плотный, подтянутый, и усы, которые он отрастил, вовсе не меняли милого, открытого его лица. Но он руку с книгой простер перед собой и вскинул голову – будто и сам готовился к подвигам, сходным с античными.

«...Вдруг подбегает кто-то из домочадцев с вестью, что Порция при смерти. И верно, Порция была так переполнена тревогой, что при любом шуме вскакивала, будто одержимая вакхическим безумием... и посылала гонца за гонцом...»

...И тут объявили, что Цезарь близко, что его несут в носилках...»

Огромным затаенным смыслом дохнуло и на Пушина и на Пушкина... Конечно же они понимали: это давнее имеет отношение к настоящему! Пушкин вскочил со своего места. Ну что, откроется ему друг?

Но Пушин не удержался от упреков:

– Чего только я о тебе не слышу!.. Как ты живешь? Что ни день – у тебя ссоры, дуэли...

– Но ты знаешь меня, мои мысли! Пушин забегал по комнате.

– Я занят сейчас важным переводом книги m-m Сталь «*Considerations sur la Revolution francaise*»²³. Какая книга! В ней достается и Наполеону и Бурбонам... – Он взял со стола исписанные листки. – Эту книгу нам надо изучать, чтобы противодействовать злу, тяготеющему над Россией... – И увлеченно принялся рассуждать: – Посуди, может ли правительство искоренить зло, если мы сами предпочитаем личные выгоды всем прочим? Мы служим лишь для получения званий!..

Они принялись говорить о злоупотреблениях, о беззаконии, о военных поселениях – можно ли все это терпеть? Только законы, обязательные для всех – и для народа и для царей, могут оградить слабых, немощных, сирых и воспрепятствовать тирании.

– Эту истину я готов сказать в лицо царю, – воскликнул Пушкин.

В самом деле, царю подают петиции об освобождении крестьян, проекты конституции... Кому же, если не поэту, говорить важные истины царям на тронах, предупреждать о гибельных ошибках и напоминать об уроках истории!.. Ну что, откроется ему Пушин?

Все же дружба побеждала.

– Я дам тебе кое-что прочитать, – сказал Пушин. Он задышал глубже. – Кое-что... Но помни, это ничего еще не значит...

Он из глубины какого-то ящика достал плотные листки рукописи. Листки были разделены надвое в длину и исписаны на одной половине. Это было извлечение из «Зеленой книги» – Пушкин о ней слышал, кое-что и читал. На первой странице стоял эпиграф из Евангелия от Луки: «Всякому же, ему же дано будет много, много взыщется от него...»

Пушин выбрал для своего друга нравоучительную часть, параграфы о личном примере: Пушкин читал:

«Отличным образом исполнять как семейные, так и общественные обязанности...

...Не расточать попусту время в мнимых удовольствиях большого света...

...Возвышаться над толпой беспечных, безумствующих, порочных...

...Превозносить добродетель, унижать порок...»

Он не думал сейчас о том, действительно ли мнимые удовольствия и страсти удалят счастье и нужно ли в самом деле отвращать женский пол от суетных удовольствий... Осуществление мечты теперь ему казалось близким!

– Ты можешь много пользы принести для общего дела, – повторял Пушин.

Пушкин благодарно, с горячностью дружбы, как некогда в Лицее, пожал Пушину руку.

Теперь от Пушина он ждал решающего шага.

²³ «Взгляд на французскую революцию» (франц.)

XI

Увы! Куда не брошу взор –
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть
В стущенной мгле предрассуждений
Воссела – Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть.

«Вольность»

По утрам он упорно работал, Те, с кем он веселился накануне, еще спали, или совершали утренний променады по бульварам, или командовали на учебном плацу казарм, – а он писал на плотных синеватых листах большого альбома...

Замысел еще одного произведения витал совсем рядом, но все не давался – замысел стихотворения о вольности... Он хотел выразить мысли и чувства, так волновавшие и его самого и его друзей... Но призыв к вольности должен был прозвучать грозно, громко – и требовал торжественной формы и ударных, весомых слов. Нужно было вернуться к О д е!..

XII

В доме шаги, голоса – что происходит?

– Никита!..

Донеслось ржание лошадей, и он вскочил с постели. Во двор въезжал деревенский Михайловский обоз.

– Никита!..

Из дома выбегали люди, вон и Никита во дворе, вот появился и барин, Сергей Львович, кутаясь в серебрившуюся мехом шубу. Мужики поснимали шапки.

Пушкин – в халате, в домашних туфлях – заспешил вниз по черной лестнице.

Было морозно. Но он и не почувствовал холода. Какая яркая, красочная картина: искрящийся, смерзшийся снег, брошенные на снег рогожи, хомуты, сбруи; белесый пар, поднимающийся от потных лошадей, гнущих шеи к охапкам сена; широкие крестьянские пошевни, с березовым копыльем и лубяной вязкой, груженные доверху мешками, бочками, кулями. И крестились и кланялись мужики в зипунах, подпоясанные веревками, в лаптях, с завязками поверх портов...

А дворян будто обезумела: все двигались, тормошили друг друга, кричали, жестикулировали, кто-то кого-то обнимал, горничная девушка в белом передничке припала к бородачу отцу, а кухарка в сапогах и кафтане целовалась с братом...

Слышалась псковская речь:

– Ну цово ты все голосе? Ты цово голосе?..

– Эк ты взрос!..

– Дорога не малая – по Олочецкому уезду, да на Лугу... Знамо, вмаялись.

– Ну, авось-либо... Где ён, Васька-то Большой?.. Господи, уж такое было безгодье: беды по бедам...

Рослый, бородатый мужик, низко поклонившись, подал барину пакет. Сергей Львович расслабленным жестом передал пакет своему камердинеру, Никите Тимофеевичу.

И уже тащат поленья – растапливать дворовую баньку, уже несут в обширные кладовые дома Клока-чева деревенский оброк – муку, сало, крупы, масло, замороженную птицу, – и довольный Сергей Львович отпустил мужиков и дворню пьянствовать в недалекое заведение...

За семейным завтраком говорили о Михайловском. Как хорошо провели прошлое лето! И решили к будущему лету требовать у приказчика лошадей пораньше и ехать не спеша: во-первых, Марье Алексеевне переезд тяжел, во-вторых – нужно ли объяснять! – будет молодец...

Ольгино место за столом зияло пустотой. Накануне было перехвачено письмо, где говорилось о поцелуях и о тайном свидании, и, в гневе, Надежда Осиповна надавала двадцатилетней дочери оплеух. Теперь Ольга страдала мигренью...

Пушкину вспомнилось летнее путешествие. Ехали несколько дней. Кареты и подводы тряслись в невыносимую июльскую жару среди облаков пыли по ухабистой дороге. Вдруг казачок во всю прыть подскочил к переднему экипажу – развалилась кладь на задней подводе. Потом обнаружили, что забыли ночные чепцы. Потом вспомнили, что забыли туфли. Неподалеку от Новоржева остановились в открытом поле искать подорожную – без подорожной ехать никак нельзя, – нашли ночные чепцы, туфли, лорнет, вещи, которые вовсе не собирались брать, и в сюртуке на Сергее Львовиче нашли подорожную...

– Ехать как можно раньше! – настаивала Надежда Осиповна.

И Сергей Львович решил уже сейчас отослать распоряжение приказчику.

Все же Михайловское давало мало дохода – и заговорили об Опекунском совете при Воспитательном доме, о ломбарде, о ссудной казне и закладных билетах. Увы, Пушкины в столице

собственности не имели, жили на доходы с поместий – погреб и поварни дома Клокачева были набиты, а денег было мало...

В деревне жить дешевле – да скучно!

Пушкину вспомнилась бревенчатая усадьба, заросший сад, широкая пойма реки, холмы и поля... Вспомнился старый арап, двоюродный дед, Петр Абрамович Ганнибал.

Старик жил в Петровском. Он встретил гостей на веранде, одетый в старинный генеральский мундир, сидя в кресле и гордо вскинув голову.

Что же за удивительная родня у него, у русского! Его род Пушкиных имел шестисотлетнюю давность, но родство с африканцами разве не придавало ему своеобразия и не объясняло его особенности?

Петр Абрамович Ганнибал был негр, совсем черный человек – волосы курчавые, лоб выпуклый, глаза влажно блестели, а полуоткрытые губы мясисто выдавались вперед... Он бахвалился, читая записки на мятых, неопрятных листках:

– Отец мой, арап Абрам Петрович, любимец самого Петра I, служил в российской службе, происходил в оной чинами и удостоился генерал-аншефского чина, был негер, отец его был знатного происхождения, то есть влиятельным князем... Братья, сестры и зятя волею божьей и чада помре; остался я один, я есть старший в роде Ганнибала!..

Его дочь, Христина – молчаливая, печальная женщина, – удивительно внешне похожа была на свою двоюродную сестру Надежду Осиповну...

Опьяневший от самодельной водки, старый генерал заплетающимся языком спрашивал:

– А кто недавно ко мне приезжал?.. Как бишь его, офицер...

– Да когда приезжал? – терпеливо спрашивала Христина,

– Да на днях!.. Да как бишь... еще женился в Казани?..

– Да это ваш сын Вениамин? От пьянства арап терял память.

И по соседним деревням во множестве жили родственники Ганнибалы – все смуглые, курчавые, громкоголосые. Конца не было фейерверкам. Днем и ночью звучала роговая музыка. Стреляли из маленьких пушек, неугомонно плясали и сочиняли стихи:

Кто-то в двери постучал: Подполковник Ганнибал... Свет Исакыч Ганнибал, Тьфу ты пропасть, Ганнибал!..

И когда гостям пришла пора уезжать – их догнали на дороге, распрягли лошадей, унесли и припрятали вещи...

Да, удивительная у него была родня!..

Камердинер Никита Тимофеевич впустил в зал, в котором господа сидели за завтраком, того мужика, который во дворе подал пакет. Он переминался с ноги на ногу, а в руках на белом деревенском рушнике держал блюдо с деревенскими гостинцами – пряженцы с капустой и рыбой, пироги, варенные в сале.

Сергей Львович милостиво спросил:

– А хорошо ли ехали, братец?..

Тот, смущаясь, держа в руке блюдо и при этом кланяясь, забормотал:

– Гарас вмаялись, барин... Хоть и тихоматом, да оно ведь как – сухрес-накрес, и – дорога, да и дровяшки-то того...

– *Qu'est ce qu'il la fouille?*²⁴ – недоуменно спросил Сергей Львович.

Он и мужик смотрели один на другого, и было очевидно, что они ничего друг в друге не понимают, они даже не имеют общего языка.

Никита Тимофеевич презрительно пожал плечами:

– Барин не понимает тебя, дурак. – Он почтительно повернулся к Сергею Львовичу. – Устал, говорит, а ехали, говорит, потихоньку...

²⁴ Что он говорит? (франц.)

Мужика отослали, но в Сергее Львовиче уже проснулся литератор.

– Опыт пера, – пояснил он скромно. Камердинер Никита Тимофеевич подал исписанные листки. Название у опыта было «День помещика» в подражание Карамзину, даже не Карамзину, а слезливому Шаликову. Он живописал первые лучи Авроры, и восторг, который будила в нем природа, и песни, которыми встретили его пернатые друзья, когда он, Сергей Львович, оставя Михайловский дом свой, направился в рощу и поля...

– Вот они, поля! – Сергей Львович мечтательно прикрывал глаза, и тонкие ноздри его породистого носа трепетали. – Вот яхонтовые васильки... Вспорхнула перепелка... О счастливая Аркадия!..

Надежда Осиповна слушала внимательно и даже поглядывала на мужа восхищенно: разве не блеском литературного своего дара когда-то он покориł ее?

– Нет, лишь в простоте сельской невинности сохраняется прелестная простота нравов, – с чувством читал Сергей Львович. – Вот сельский праздник. В хороводе я вижу Алину: у нее взор Галатеи, у нее нежная улыбка Дафны...

И закончил вопросом:

– *Qu'est ce qui fait le bonheur?*²⁵ Любовь! – Он эффектно выдернул салфетку, подвязанную под его подбородком, и передал и салфетку, и лорнет, и рукопись Никите Тимофеевичу.

Пушкин поднялся из-за стола.

– Ты мог бы и дольше посидеть с нами. – Румянец авторского самолюбия разлился по лицу Сергея Львовича.

Но сын не мог дольше оставаться. Он торопился...

²⁵ В чем счастье? (франц.)

XIII

Наступил долгожданный час.

Он поднялся на почетное возвышение посредине обширной комнаты. За длинным столом сидели их превосходительства арзамасские гуси. Его принимали в общество «Арзамас».

Любое серьезное событие по «арзамасскому» обычаю превращали в шутку.

Напрасно председатель Александр Иванович Тургенев звонил в серебряный колокольчик. В миру важный сановник, здесь, в «Арзамасе», он носил кличку Эолова Арфа. Никто не слушал призывов Эоловой Арфы. Арзамасские гуси чествовали нового брата.

А он со своего покрытого ковром возвышения видел их всех, – соблюдая устав, они сидели в алфавитном порядке: Адельстан, Варвик, Ивиков Журавль, Кассандра, Пустынник, Резвый Кот, Рейн, Старушка, Чу... Кто-то из них в миру генерал, кто-то дипломатический посланник, кто-то директор Педагогического института... Ко здесь – все равны, все братья. По о-четные гуси – Карамзин, знаменитый писатель и историограф, статс-секретарь Каподистрия, ведавший Иностранной коллегией, в которой служил новый брат, сидели по бокам председателя. А напротив Александра Тургенева сидел автор арзамасских протоколов, секретарь Светлана – Жуковский.

Посредине стола, крытого красной скатертью с бахромой, стояла стеклянная пустая чернильница – вот он, гроб для «Беседы» и для всех остальных врагов «Арзамаса». На печати был вырезан арзамасский символ – гусь!..

Лицо нового брата сияло. Какие похвалы довелось ему выслушать! Да, как воинство ждет подкрепления, чтобы броситься на врага, как избранный народ ожидает Мессию для своего торжества, как зимой ждут солнца – так ждали его арзамасцы. Еще ребенком он удивил всех своими стихами. В его творениях – гармония, музыка, воображение и вкус. Он должен совершить то, что до сих пор не удавалось другим!.. На него возлагаются надежды! Он должен написать русскую богатырскую поэму – «Руслан и Людмила»!

Поднялся почетный гусь Карамзин. Вождь всей новой школы, собравший вокруг себя сторонников просвещения, приветствовал его!

– Пользуюсь случаем повторить, – звучным голосом сказал Карамзин, – пари, орел, но не останавливайся в полете!.. От тебя многого жду!..

Отечественная литература ждала его творений во всех родах: в прозе, поэзии, критике, драме... Русский язык еще ждал окончательной обработки – чтобы уметь выразить любые понятия, чтобы обрести богатство и гибкость...

– Великое будущее ожидает Россию... Будь же достоин этого будущего!

Старый писатель был худ, высок, седовлас, и рядом с ним новый гусь – в красном колпаке, из-под которого выбивались пышные кудри, в красной мантии на худых плечах, – выглядел особенно низкорослым и, в свои восемнадцать лет, неправдоподобно юным – он был совсем мальчик! Он радостно улыбался и не мог спокойно стоять на месте, и в широко раскрытых выпуклых его глазах – были смех, счастье, гордость...

– Помни псалом Давида, – торжественно возгласил председатель. Большой живот Александра Тургенева упирался в стол. В короткой мясистой руке он держал колокольчик. – Аще забуду тебя, Иерусалиме, забвенна будет десница моя. Вот так мы клянемся в верности «Арзамасу»...

И настала его очередь сказать речь. Голос его зазвенел... Он откинул несколько назад курчавую свою голову... И александрийскими выразительными дву-стишьями он поведал братьям о том великом нетерпении, с которым ожидал сего торжественного дня:

Венец желаниям. Итак, я вижу вас,

О други смелых муз, о дивный «Арзамас»!

Когда-то с этого самого помоста держали речи Эолова Арфа, и Светлана, и Асмодей, и Ахилл... «Арзамас» – святилище разума и вкуса, «Арзамас» воюет против темной и закостенелой варяго-росской «Беседы», «Арзамас» – это храмина,

Где славил наш Тиртей (Жуковский) кисель и Александра, Где смерть Захарову пророчила Кассандра...

И вот в этой храмине, с этого помоста теперь он, Сверчок – Пушкин, беседует с арзамасскими своими друзьями:

...в беспечном колпаке,
С гремушкой, лаврами и розгами в руке.

Эти розги он приготовил для врагов вкуса, для врагов разума, для врагов истинных талантов – для «Беседы».

Все зашумели, закричали, повскакивали с мест. Кассандра, Резвый Кот, Пустынник, Старушка окружили Сверчка. Пусть он быстрее пишет русскую сказочную поэму! Помнит ли он, что бедной нашей словесности нужна богатырская поэма! Знает ли он, как жадно все ждут «Руслана и Людмилу»?..

Зазвенел звонок, призывая к тишине и порядку.

– Кто введет Сверчка в «Арзамас»? – возгласила Эолова Арфа. – Кто в сей священной храмине скажет слово?

Слово взял Светлана – Жуковский.

– Братья, ваши превосходительства, арзамасские гуси. – Голос его звучал негромко, мягко. – Месяц грудень в нынешнем году – праздник для всех арзамасских гусей. – Лицо Светланы, с молочной, как у младенца, кожей и с младенчески ясными глазами, выражало истинное счастье. Сегодняшний день был его торжеством. Не он ли сам взрастил чудо, которое вводил сегодня в арзамасский храм? – Мы вводим в святилище «Арзамаса» племянника нашего Старосты Вот-я-Васа (он говорил о Василии Львовиче Пушкине) и, значит, племянника всего «Арзамаса». О, как мужает, как зреет его талант! Еще в Лицее он был арзамасцем, пуская стрелы сатиры в наших врагов. Теперь, едва сойдя со школьной скамьи, он может предать тиснению больше полсотни стихов – и этот сборник стихов порадует любителей прекрасного. Теперь он пишет «Руслана и Людмилу» – и начало выше всех похвал. Вот заслуги нашего Сверчка. Скажем дружно ему: Сверчок должен не только прыгать, но должен звонко кричать! Общими усилиями засадим его за работу!.. Пусть же звонкий голос Сверчка оглашает арзамасские поля и заглушает кваканье лягушек из халдейских болот...

И Сверчок с помоста бросился обнимать, душить в объятиях друга-учителя Жуковского... Поднялся шум. Уже никто не слушал увещаний председателя. Но в «Арзамасе», в этом святилище разума и вкуса, увы, не было единства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.